Тургенев

Иван Сергеевич

1818 - 1883

Классики

за 30 минут

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.

В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.

Для широкого круга читателей.

- Тургенев за 30 минут
  - Биографичекий очерк
  - Муму
  - Отцы и дети
  - Записки охотника
    - Хорь и Калиныч
    - Ермолай и Мельничиха
    - Малиновая вода
    - Уездный лекарь
    - Мой сосед Радилов
    - Однодворец Овсяников
    - Льгов
    - Бежин луг
    - Бирюк
    - Касьян с красивой мечи
    - Бурмистр
  - Стихотворения в прозе
    - Деревня
    - Разговор
  - Тексты
    - Хорь и Калиныч
    - Ермолай и Мельничиха
    - Малиновая вода
    - Мой сосед Радилов
    - Однодворец Овсяников
    - Льгов
    - Бежин луг

- Касьян с красивой мечи
- Бурмистр
- Контора

Тургенев за 30 минут

Биографичекий очерк

Один из величайших русских писателей – Иван Сергеевич Тургенев появился на свет 9 ноября (28 октября по ст. стилю) 1818 года в городе Орел, в семье потомственных дворян. Его отец – Сергей Николаевич происходил из древнего дворянского рода и был гусарским офицером в отставке, а мать – Варвара Петровна являлась урожденной Лутовиновой и была представительницей знатного помещичьего семейства. Детские годы мальчик провел в семейном имении Спасское-Лутовиново, где его воспитанием занимались специально нанятые гувернантки и преподаватели.

Родительница поэта обладала крайне сложным и скверным характером, была несговорчивой, властной и жесткой. Детей воспитывала строго, иногда даже поколачивала, доставалось и Ивану, хотя он и считался семейным любимчиком. Помимо мальчика в семье подрастали сыновья Николай и Сергей (рано умерший от эпилепсии). Все домочадцы разговаривали исключительно по-французски, как того требовала Варвара Петровна.

С 1827 по 1829 годы юноша проучился в пансионе, а затем продолжил свое образование в родных стенах, где домашние педагоги обучили его помимо остальных предметов, также английскому, французскому и немецкому языкам. К этому времени семейство перебралось в Москву, чтобы дети могли получить хорошее образование и жило в доме на Самотеке.

1833 год ознаменовался для Ивана Сергеевича поступлением в Московский университет в возрасте 15 лет. Но поскольку старший брат – Николай поступил на службу в гвардейскую артиллерию, Тургеневы переехали в Петербург и младший – Иван перевелся на словесное отделение философского факультета Петербургского университета, которое успешно закончил в 1836 году. По окончании университета, мечтает о продолжении научной деятельности, совершенствует литературные навыки. В этом же году, в «Журнале Министерства народного просвещения» была опубликована серьезная, детальная рецензия Тургенева на произведение А.Н. Муравьева «О путешествии ко святым местам». Через год, в 1837 году Ивану Сергеевичу было присвоено звание кандидата, после успешной сдачи выпускного экзамена в альма-матер.

Уже в 1838 году, благодаря протекции профессора университета П.А. Плетнева, в «Современнике» были опубликованы первые два стихотворения поэта «Вечер» и «К

Венере Медицийской». Предыдущие литературные опыты, к сожалению, практически не сохранились, но известно, что к этому моменту автором было написано около сотни произведений, не дошедших до публики. В частности, была создана драматическая поэма «Стено», написанная пятистопным ямбом.

В том же году Иван Сергеевич предпринял заграничный вояж, посетив Германию, где даже прослушал цикл лекций по философии и классической филологии, побывал во Франции, Нидерландах, некоторое время прожил в Италии. В общей сложности эта поездка растянулась на два года.

Личная жизнь классика мировой литературы складывается весьма драматично: в юном возрасте он влюбляется в юную поэтессу княжну Екатерину Шаховскую – дочь княгини Шаховской, но девушка отвечает взаимностью отцу писателя – Сергею Николаевичу. Это происшествие сильно ранит молодого человека и много позже, в 1860 году, находит свое отражение в повести «Первая любовь» в образе Зинаиды Засекиной, обладающей многими чертами Екатерины.

В 1841 году писатель возвращается в Россию и живет в Москве, знакомится с Гоголем, Аксаковым и, наряду с подготовкой к магистерским экзаменам, становится постоянным посетителем литературных кружков. Во время одной из поездок в Петербург, сводит знакомство с Герценом. А в один из визитов в родное Лутовиново, знакомится с белошвейкой Авдотьей Ермолаевной Ивановой, вспыхивает страстный роман, который заканчивается беременностью девушки. Жениться на ней не позволяет мать поэта, устроившая грандиозный скандал по этому поводу. И Дуняшу (Авдотью) спешно отправляют в Москву к родителям, а Ивана – в Петербург. В Москве же, появляется на свет дочь Тургенева – Пелагея, которую тот признал лишь в 1857 году.

Часто бывает в имении Бакуниных – Премухино. С Михаилом Бакуниным поэт знаком еще со времени путешествия в Германию и вскоре последний поддается чарам Татьяны Бакуниной – сестры Михаила. Девушка была старше поэта на три года, серьезно увлекалась немецкой философией и, несмотря на то, что они жили в одном доме, писала Тургеневу письма на немецком языке, полные самоанализа, ожидая того же и от Ивана. Она по-настоящему любила, а он скорее позволял себя любить, будучи не в состоянии ответить серьезными чувствами. Посвятил ей несколько стихотворений и поэму «Параша».

В 1842 году подает заявку на допуск к экзаменам на степень магистра философии в Московский университет, но получает отказ и успешно сдает экзамен на звание магистра греческой и

латинской филологии в Петербургском университете на латинском языке, начинает писать диссертацию, но вскоре передумывает и полностью посвящает себя литературе. До 1844 года служит коллежским секретарем в Министерстве внутренних дел. Создает поэму «Параша» (1843 г.) и в надежде на положительный отзыв, относит ее критику В.Г. Белинскому, который оценил ее очень высоко. Именно с этого момента завязывается крепкая дружба между молодыми людьми.

Ноябрь 1843 года ознаменовался написанием стихотворения «Утро туманное», многократно положенное на музыку различными композиторами. Считается, что это прекрасное произведение посвящено Полине Виардо, с которой он познакомился во время ее гастролей в Петербурге. Девушка была замужем, но это не останавливало писателя, он постоянно переезжал вслед за супружеской четой по всей Европе, по сути, жил в их доме. До сих пор биографы Тургенева расходятся во мнениях о том, какие именно отношения были между ними, но доподлинно известно, что Полина воспитывала Пелагею – внебрачную дочь писателя, а после того, как муж красавицы оказался парализованным из-за тяжелой болезни, Виардо и Иван жили настоящей супружеской жизнью.

В 1844 году увидела свет поэма «Поп», сильно урезанная царской цензурой и целиком публиковавшаяся только за границей. А еще через два года появились повести «Бретёр» и «Три портрета» (1846 г.). Со следующего года поэт начинает работать в «Современнике», знакомится с Н.А. Некрасовым, П.В. Анненковым. Там же выходит в свет его первый фельетон «Современные заметки», публикуются главы из «Записок охотника». После грандиозного успеха рассказа «Хорь и Калиныч», Тургенев решается на создание целого цикла подобных рассказов.

С 1847 года вновь уезжает за границу вместе с Белинским и становится свидетелем февральской французской революции, как раз проживая в 1848 году в Париже. Именно лично пережив все ужасы полувоенного положения, убийство заложников и баррикады, он навсегда возненавидел любое проявление революций.

Период с конца 1840-начала 1850 гг. стал наиболее плодотворным для творчества Тургенева. Были созданы пьесы «Где тонко, там и рвется», «Нахлебник» (1848 г.); «Завтрак у предводителя», «Холостяк» (1849 г.); «Месяц в деревне» (1850 г.), «Провинциалка» (1851 г.); осуществляет переводы оригиналов Байрона и Шекспира.

1850 год – время возвращения Ивана Сергеевича в Россию. В

этом же году умирает его мать, но увидеться с ней так и не удалось и братья (Иван и Николай) делят между собой поровну ее огромное наследство.

Некролог, написанный после смерти Гоголя, стал причиной отправки Тургенева на съезжую, где он прожил целый месяц, поскольку петербургская цензура считала его слишком возвышенным, а все таки напечатанный в «Московских ведомостях», он был воспринят как бунт. Писатель был сослан в деревню и получил право жить в столице лишь через два года, благодаря хлопотам влиятельных друзей. Наказания не избежал и цензор Львов, который допустил к печати «Записки охотника» – его уволили с лишением пенсии. Любая попытка издателей опубликовать «Записки охотника», натыкалась на строгий запрет цензурой.

Находясь в ссылке в Спасском-Лутовиново, писатель читает книги, создает произведения, охотится, играет в шахматы и ведет в общем-то обычную жизнь, если не считать регулярных проверок со стороны станового пристава. Именно там был написан легендарный рассказ «Муму» (1852 г.).

Лишь после смерти императора Николая I, увидели свет такие произведения автора как: «Рудин» (1856 г.), «Дворянское гнездо» (1859 г.), «Накануне» (1860 г.) и «Отцы и дети» (1862 г.). Осенью 1855 года Тургенев познакомился и подружился с Л.Н. Толстым и именно поэту посвящен рассказ последнего «Рубка леса».

В конце 1862 года, Иван Сергеевич вновь оказался под подозрением у властей, на этот раз, в связи с «Делом 32-х», ему пришлось даже приехать в Россию из-за границы, где он тогда жил и на состоявшемся в 1864 году сенатском допросе, он был признан невиновным. С 1863 года Тургенев постоянно проживает в Баден-Бадене. Среди его друзей огромное количество всемирно знаменитых личностей: Уильям Теккерей, Чарльз Диккенс, Жорж Санд, Виктор Гюго, Проспер Мериме, Гюстав Флобер и др. Поэт занимается популяризацией русской литературы за границей, одновременно, знакомя читателей с трудами лучших заграничных мастеров.

В 1867 году создается роман «Дым», споры вокруг которого велись очень долго в русском обществе. А начиная с 1874 года в парижских ресторанах стали регулярно проводиться знаменитые «обеды пяти»: Золя, Флобер, Гонкура, Доде и Тургенева. Примечательно, что последнему на них отводилась главная роль. Писатели обсуждали различные темы, неформально общались, наслаждались обществом друг друга и собирались примерно раз в месяц, иногда даже у кого-то из них дома. 1878 год примечателен

для Ивана Сергеевича назначением его на пост вице-президента на международном литературном конгрессе в Париже. Уже 18 июня 1879 года он был назначен почетным доктором Оксфордского университета, ставший первым из всех беллетристов, удостоенных такой чести.

Много сил было вложено в роман «Новь» (1877 г.) – один из самых объемных текстов автора. И неизменно, был подвергнут строгой критике как со стороны Салтыкова-Щедрина, так и Достоевского, с которым Тургенев особенно не ладил.

В 1882 году обнаружилось серьезное заболевание поэта, ставшее в итоге смертельным. Но он продолжает работать и успевает опубликовать первую часть цикла лирических миниатюр «Стихотворения в прозе». Неимоверно страдая от постоянной боли и под влиянием морфия, писатель из всех сил борется с онкологическим заболеванием. Но оно оказывается сильнее и 3 сентября (22 августа) 1883 года в Буживале под Парижем – имении Виардо эта битва была проиграна.

Смерть Ивана Сергеевича Тургенева повергла его почитателей в глубокий траур, были организованы масштабные похоронные торжества в Париже, с ним пришло проститься более четырехсот человек. И в соответствии с последним волеизъявлением, тело писателя 27 сентября было перевезено в Петербург.

Муму

Когда-то очень давно на окраине Москвы жила в сером покосившемся доме одинокая барыня. Была она уже немолода, вдова, дети давно покинули ее, но широкая дворня по-прежнему окружала хозяйку. Среди всей этой дворни особенно выделялся дворник Герасим – высокий, крепко сложенный детина, глухонемой от рождения. Когда он жил на деревне, всякая работа спорилась в его могучих руках, казалось, что ему и не нужна была помощь лошади, чтобы вспахать поле. Но вот, его перевезли в город, выдали кафтан, метлу и определили дворником.

Эта жизненная перемена совершенно не нравилась Герасиму, но и сказать-то он ничего не мог, пришлось подчиняться. Со временем, стало немного полегче, а вся его задача заключалась в том, чтобы поддерживать двор чистым, привозить бочку с водой, дрова носить и колоть, да чужих никого не пускать, особенно, ночью. Весь этот перечень повседневных дел казался ему шуткой после тяжких работ на деревне, а потому, наскоро их переделав, у него было много свободного времени. Остальная дворня его побаивалась и уважала, при нем даже петухи старались не драться, опасаясь его гнева, не говоря уж о том, чтобы явился кто-то чужой. Жил он в каморке над кухней, которую обустроил по своему вкусу, соорудил себе крепкую исполинскую кровать и такую же добротную мебель. Закрывалась каморка на ключ, который всегда был у дворника на поясе, он очень не любил, когда в его жилье кто-то заходил.

Через год барыня решила женить Капитона Климова – башмачника и горького пьяницу на прачке Татьяне, в надежде, что тот остепенится и будет меньше пить. Но беда затеи заключалась в том, что Герасиму сильно нравилась девушка и об этом знали все работники. Дворецкий Гаврила крепко задумался о том, как бы провернуть это дело так, чтобы избежать гнева дворника, которого все боялись. Татьяна согласилась, как обычно, у нее не было ни на что своего мнения, она всех боялась. А Капитон сильно трусил, боясь, что Герасим просто убьет его. Или ее. Или обоих. Впрочем, этого все боялись.

На созванном по этому поводу совете, решили заставить Татьяну притвориться пьяной и в таком непотребном виде пройтись около могучего дворника. Все знали, что тот терпеть не мог пьяниц и на это был главный расчет. Он оправдался, Герасим толкнул девушку в сторону Капитона и через неделю те поженились. Сам дворник особо не изменился, только стал еще угрюмее.

Однако женитьба не исправила башмачника, он даже еще больше спился и в итоге был отправлен вместе с женой в дальнюю деревню. Герасим подарил Татьяне на память красный бумажный платок и немного проводил их обоз. Идя вдоль берега реки, он внезапно заметил кого-то барахтавшегося в прибрежной тине. Оказалось, что это белый щенок с темными пятнами. Дворник спас его и принес домой, начал ухаживать, сильно к нему привязался. Дал кличку «Муму».

Через некоторое время собака превратилась в очаровательное, очень умное создание испанской породы, с длинными ушами и пушистым хвостом, которое полюбил весь дом. Сам Герасим в ней и вовсе души не чаял, даже ревновал, когда ее кто-то гладил. Так они счастливо прожили вместе еще с годик. Но однажды, барыня заметила Муму в палисаднике и велела немедленно принести собаку ей, ласково ее называла, угостила молоком и собиралась погладить, но пес зарычал на нее и увернулся. Хорошее до этого расположение духа сумасбродной старухи, мгновенно сменилось чрезвычайно мрачным. И на следующий же день она велела избавиться от Муму.

Сделать это было поручено работнику Степану, который улучив удобный момент, сгреб собаку в охапку, отвез в Охотный ряд и продал первому же покупателю, чтобы тот хоть неделю пса у себя подержал. Герасим, не найдя любимицу на привычном месте, кинулся ее искать, но напрасно. Крепко его расстроило это обстоятельство, несколько дней ходил он сам не свой, отказываясь от некоторой работы и часто от еды. Лицо его окаменело и осунулось. Только однажды на сеновале Муму вернулась с обрывком веревки на шее. Дворник догадывался, что собака не нравится барыне и это ее идея от нее избавиться, поэтому решил прятать любимого питомца в своей каморке, выгуливая только по ночам. Но пес очень скоро выдал себя визгом, о чем глухонемой не догадывался и теперь весь дом знал об этой тайне Герасима, но из страха и уважения к последнему, ему самому об этом не говорили. А дворецкий надеялся, что барыня не узнает.

Но она узнала об этом почти сразу, когда Муму на свое несчастье стала звонко гавкать у ворот на какого-то пьяного. Разразился скандал и было решено во что бы то ни стало, избавиться от дрянного животного, чтобы старуху угомонить. Герасим, чувствуя неладное, заперся вместе с собакой в своем чулане, надеясь, что их скоро оставят в покое. Однако Муму скулила и гавкала и это слышали все, кроме бедного дворника. Собралась целая толпа людей во главе с дворецким, требовавшая отдать собаку. Неожиданно, дверь открылась и Герасим показал

знаками, что собаку не отдаст, но сам с ней разделается. Ему нехотя поверили, зная, что его слову можно доверять.

Надев парадный кафтан, Герасим, не оборачиваясь на всю дворовую свору, отправился в трактир, где накормил Муму щами с мясом и хлебом. Затем, направился к реке, захватил с какого-то двора пару кирпичей и нашел лодку. Быстро отплыл на ней подальше, прижал к себе в отчаянии пса, как бы прощаясь с ним. Накинул Муму на шею веревку с кирпичами и крепко закрыв глаза, чтобы не видеть этого, бросил ее в реку.

Домой к барыне он решил не возвращаться, только зашел быстро за пожитками и ушел обратно в свою деревню, где раньше жил. Утром его хватились дома, да того уж и след простыл. Хотели было вернуть назад, как требовала барыня, но потом она передумала, а вскоре и вовсе померла. Наследники же, совсем распустили на вольные хлеба всю дворню.

А Герасим так и живет один, бобылем. Нет у него с тех пор, ни жены, ни собаки.

Отцы и дети

20 мая 1859 года пожилой барин в запыленном пальто вместе со слугой Петром выходит на дорогу около постоялого двора, встречать экипаж сына. Петр – молодой, щекастый малый с бирюзовой серьгой в ухе и разноцветными волосами – образчик нового, совершенного молодого поколения. Барина зовут Николай Петрович Кирсанов и в пятнадцати верстах от этого захудалого постоялого двора, у него прекрасное имение в двести душ крепостных. В свое время он отказался от военной карьеры, в отличие от своего брата Павла и поступил в университет, который закончил со степенью кандидата и вот теперь домой возвращается его сын Аркадий, также со степенью кандидата.

Николай Петрович погружается в свои воспоминания, размышляет о будущем сына, сожалеет, что мать не дождалась момента встречи с ним – она умерла. Внезапно, доносится звук приближающегося экипажа и отец выбегает на дорогу встречать чадо. Из тарантаса радостно выпрыгивает загорелый сын в студенческой фуражке. Они обнимаются после долгой разлуки и сын сообщает, что он не один, а со студенческим товарищем, который погостит у них. Этого товарища зовут Базаров Евгений Васильевич, он высок ростом, со светлыми бакенбардами и темно-светлыми густыми длинными волосами. Ведет себя самоуверенно и снисходительно, даже надменно. Со двора постоялого двора решено сразу ехать в имение и там уже отдохнуть с дороги.

Во время пути сын просит отца быть поласковее с Базаровым и отзывается о нем как об очень умном человеке, который занимается естественными науками и на следующий год собирается держать экзамен на доктора. Николай Петрович говорит, что в доме теперь живет и Фенечка. Он смущен и краснеет, но Аркадий успокаивает его, что все нормально. Отец и сын договариваются отныне очень сблизиться, чтобы получше узнать друг друга.

Наконец, они приезжают, но встречать их выходит только слуга Николая Петровича. Зайдя внутрь они располагаются в гостиной, Базаров не слишком вежлив. Выходит поздороваться с племянником Павел Петрович – стильно и модно одетый, в прекрасной физической форме, образованный и с блестящими манерами. Он радостно приветствует Аркадия, но Евгению даже руки не подает, только вежливо кланяется. За ужином мало разговаривают, больше едят, особенно, Базаров и после него сразу расходятся по комнатам. Павлу Петровичу совершенно не нравится Евгений и это взаимно. Последний считает его

жеманным и смешным чудаком.

Рано утром Базаров отправляется с дворовыми мальчишками на болото, чтобы отловить лягушек для препарирования. Аркадий знакомится с Федосьей Николаевной и узнает, что у него есть маленький брат – ребенок отца и этой девушки, о котором ему ранее не сообщили. Во время завтрака с отцом и дядькой, молодой человек говорит, что Евгений Васильевич – нигилист – человек, который не принимает никаких авторитетов и ко всему относится скептически. Утреннее какао Павлу Петровичу приносит Фенечка – молодая миловидная девушка, она застенчива и явно не нравится первому. Николай Петрович смущен и лишь Аркадий ей приветливо улыбается. Возвращается Базаров со своими лягушками и уносит их в дом, чтобы выйти к завтраку.

За чаем говорит неохотно, ведет себя очень развязно, хамит, отвергает всю науку, признавая лишь некоторые ремесла, оскорбляет Павла Петровича. Последний Базарова практически ненавидит. Далее следует история о жизни и молодости дядюшки, которую рассказывает Евгению Аркадий. Но Базаров не в состоянии сочувствовать, называет все романтические порывы гнилью и ничтожеством. Он не умеет сопереживать.

К Фенечке неожиданно заходит Павел Петрович, пристально ее рассматривает и нянчится с ребенком – он крайне редко к ней заходил. Базаров также с ней знакомится и она ему нравится, он даже готов с ней пофлиртовать, пока Аркадий не сказал тому, кто она.

За две недели пребывания Евгения в доме, к нему почти все привязались, привыкли к его немногословности, развязности и хамству, а некоторые, даже находили это забавным. Только старшее поколение его недолюбливало: Николай Петрович – побаивался, переживая за дурное влияние на сына, старый слуга Прокофьевич – не любил Базарова, а Павел Петрович – откровенно ненавидел. В свою очередь, сам нигилист активно настраивает Аркадия против всего того, что дорого его отцу и дядьке, называя это глупостями и мальчишеством. Высмеивает, что Николай Петрович играет на виолончели и читает Пушкина, а надо бы современную научную литературу, например, Бюхнера, говорит, что слушать стариков не следует и их песенка уже спета. Случайно подслушав этот разговор, отец передает его брату и оба возмущены.

Вечером состоялась грандиозная словесная битва между Павлом Петровичем и Базаровым, но ни одна сторона ничего не сумела доказать другой, каждый остался при своем мнении. А Николай Петрович выразил мнение о том, что они принадлежат к

совершенно разным поколениям и, видимо, правда никогда не поймут друг друга. Спор завершился на повышенных тонах и оппоненты поспешили разойтись.

Отец Аркадия получает приглашение в город на прием от их дальнего родственника, который стал важной шишкой и хочет с ними повидаться, но старшее поколение отказывается ехать и тогда Евгений предлагает Аркадию прокатиться туда, развеяться. Молодежь уезжает и старики вздыхают с облегчением.

Этого родственника зовут Матвей Ильич Колязин и его считают прогрессистом, очень просвещенным чиновником. Он рад встрече с Аркадием и советует тому непременно съездить на поклон к губернатору, который послезавтра устраивает большой бал. Молодые люди и впрямь к нему сходили, а на обратном пути встретили Ситникова – старого приятеля Базарова, хотя последний и разговаривает с ним холодно. Ситников рекомендует Евгению обязательно встретиться с Евдоксией Кукшиной, но тот узнав, что девушка не слишком хороша собой, соглашается только из-за шампанского, которое обещает на завтрак приятель. Общество Евдоксии ни Кирсанову, ни Базарову не понравилось. Та была слишком жеманна и говорила глупости, пытаясь казаться высокообразованной.

На губернаторском балу было очень много народа, Аркадий, Ситников и Базаров удобно устроились в уголке и наблюдали за танцующими, пока не приехала Одинцова. Она сумела произвести на молодых людей очень приятное впечатление и с ней весь вечер кто-то танцевал: то Ситников, то Кирсанов. Последнему она особенно приглянулась. Заметил ее и Базаров, его заинтриговала ее холодность. Девушка пригласила их с Аркадием приехать к ней как-нибудь в гости. Кукшина чувствовала себя глубоко несчастной и оскорбленной от того, что ни один из них за весь вечер даже не подошел к ней.

На следующий день Евгений и Аркадий отправились в гостиницу, где остановилась Одинцова. Она была по-прежнему сдержанно холодна и это несколько оконфузило Базарова. Он вел себя намеренно развязно. А его друг не спускал с Анны Сергеевны очарованных глаз. Девушка их внимательно слушала, но на лице ее не отразилось ни одной эмоции, она была приветлива и поддерживала беседу, но в мыслях где-то далеко. Через три часа разговоров, она пригласила молодых людей к себе в Никольское и оба с радостью согласились. Евгений краснел и несколько смущался в ее присутствии, что было крайне не типично для него. Позже он заметил, что у Одинцовой отличное тело – он был верен себе и называл девушку герцогиней.

Молодые люди решили долго не тянуть и уже через пару

дней отправились в Никольское. Дом Анны был желтого цвета с зеленой крышей, белыми колоннами, роскошным садом. Всюду царил порядок. Девушка представила свою сестру Екатерину – восемнадцатилетнюю симпатичную девчушку, которая все время смущалась и тетку – княжну со злыми маленькими глазками. Чуть позже приехал сосед – Порфирий Платонович – страстный любитель игры в карты. Одинцова говорила больше с Базаровым, почти не обращая внимания на Аркадия. Катерина играла на фортепиано.

Позже, в своих комнатах Базаров признается, что Анна не глупа, но действительно прекрасна ее сестра – она молода и из нее еще можно вылепить все, что вздумается. Старшей же сестре действительно понравился Евгений.

Следующим утром Анна и Евгений отправились на прогулку, а Аркадий остался с Катериной. Он не скучал, но по возвращении друзей, невольно удивился: лицо девушки пылало, она была рассеянной, а друг и вовсе прошел мимо него в свою комнату.

Так они прожили в Никольском пятнадцать дней. Все было подчинено строгому распорядку и Анна строго следила за этим. Последняя чаще всего общалась с Базаровым и им было хорошо вместе, а Аркадий – с Катериной. Несмотря на его влюбленность в старшую сестру, именно с младшей ему было по-настоящему хорошо. Как правило, обе парочки ненадолго встречались днем, а потом расходились каждый в свою сторону. Кирсанов стал молчаливее и задумчивее, а Базаров – нервным и нетерпеливым. Друзья практически не общались вместе и больше не разговаривали по душам.

Дело было в том, что Базаров влюбился в Анну и ей он был далеко не безразличен. Молодой человек всеми силами гнал от себя это чувство, которое презирал, над которым всегда глумился, гнал, но не мог отогнать. Однажды он сообщил Одинцовой, что уезжает домой в свою деревню. Ее сильно расстроило это известие, даже сильнее, чем она думала. Девушка вызвала его на откровенный разговор и Евгений признался ей в любви. Но она себя почувствовала виноватой в этом и не могла ответить взаимностью.

Базаров стал угрюм и нелюдим, Аркадий не понимал, что с ним происходит. Анна старалась держаться теперь подальше от первого, сама была задумчивой. Обстановку в доме разрядил нежданный визит Ситникова. Он был так глуп и развязен, что остальным тоже стало проще все воспринимать. Однако дружба между молодыми людьми серьезно пошатнулась, Аркадий осознал насколько велико самолюбие Базарова, который того считал дураком и не скрывал этого. Вместе с Евгением решил

вернуться домой и Кирсанов, то же самое пришлось сделать и Ситникову, который рассчитывал погостить подольше. В последний момент Аркадий просится в гости к другу и уезжает с ним на тарантасе, а Ситников оконфуженный, остается один.

Они приезжают в имение нигилиста. Родители очень сердечно встречают Евгения, особенно, мать. Аркадия никто не представляет и отец Базарова сам к нему подходит поздороваться, зовет в дом. И уже в доме сын представляет родителям друга. Родители Базарова – Василий Иванович и Арина Власьевна – простые и добрые люди. Они кормят молодежь отменным обедом и отправляют спать, чтобы отдохнули с дороги.

Утром Аркадий с жаром рассказывал отцу друга о том, какой тот хороший, замечательный человек и что он непременно однажды станет знаменитым. Это сильно ободрило старика. Но уже днем друзья серьезно поспорили и чуть не подрались. Их дружба снова оказалась под вопросом. И если Кирсанов уважительно относится к родне друга, то последний откровенно оскорбляет семейство первого. Однако это не помешало Базарову возжелать вернуться в дом Аркадия и вскоре они уехали.

Но когда друзья оказались на дорожной развилке, Аркадий неожиданно предложил ехать в Никольское. Там их не ждали и поспешили с ними скорее распрощаться. Кирсанов злился на Евгения, а тот был недоволен лишь собой, но тоже злился.

Они вернулись в Марьино – имение Аркадия. Их возвращению все обрадовались, хотя дела с хозяйством шли из рук вон плохо. Базаров, по-прежнему, занимался своими опытами, а Кирсанов старался помогать отцу. Неожиданно, он поймал себя на мысли, что его тянет в Никольское, он скучает дома и ему наскучил Евгений. Через десять дней он самостоятельно, без друга отправился в знакомое имение. Там его встретили приветливо, и Катерина и Анна обрадовались ему.

Оставшись один на один с родственниками Кирсанова в его имении, Базаров со всей серьезностью занимается своими опытами. Павел Петрович старается избегать и его общества, и стычек с ним, но с удовольствием наблюдает за опытами, как и Николай Петрович, который вообще в восторге от них. Особенно сблизилась с Евгением Фенечка, она постоянно бегала к доктору за советами об уходе за ребенком, просто разговаривала с ним. Молодые люди нравились друг другу и однажды Базаров поцеловал девушку, но это увидел Павел Петрович, которого эта сцена очень расстроила. Настолько, что в тот же день он вызвал Базарова на дуэль. Во время дуэли Павел был ранен, но не серьезно. Евгений решил вскоре уехать. Об этом поединке узнал Николай Петрович, но оба противника соврали об истинных

причинах. Сложно сказать, почему Павел решился на это: защищал ли он честь брата, или сам был в люблен в Фенечку. Определенно, она ему нравилась. Сразу после отъезда Базарова, брат посоветовал Николаю жениться на девушке и тот с радостью согласился.

Тем временем, в Никольском Аркадий и Катерина еще крепче привязались друг к другу, он даже рассказал девушке о своей влюбленности. Неожиданно, там его навещает Базаров и рассказывает о происшествии дома. Он встречается с Анной и оба стараются не вспоминать о том неудачном объяснении, но ей неловко с ним, она его даже немножко боится. А Кирсанов признается Кате в любви и просит ее руки, на что та отвечает согласием. Старшая сестра благословляет их, а Евгений прощается с другом навсегда.

Сам Базаров возвращается в свою деревню к родителям и те несказанно рады приезду сына. Он собирается работать и просит стариков не мешать ему со своей излишней заботой, но наука не особо занимает его. Он стал задумчивым, меланхоличным, даже походка его изменилась. Отец боялся как бы тот не заболел. Евгений стал помогать отцу в уходе за больными, сам их лечил. Но однажды случилось страшное: во время вскрытия больного тифом мужика, Базаров порезался и сам заразился этой хворобой. Жестоко страдая и мучаясь, он просит отца передать Одинцовой от него поклон и сообщить, что тот умирает. Вскоре она сама к нему приезжает и привозит немецкого врача, но сделать уже ничего нельзя. Он прощается с ней. И на следующее утро умирает.

Прошло полгода. Неделю назад обвенчались Аркадий с Катериной и Николай Петрович с Фенечкой. Анна уехала в Москву сразу после свадьбы. Туда же по делам собирается и Павел Петрович и брат дает для него прощальный обед.

Вскоре Анна выходит замуж, хотя и не по любви, дела Кирсановых в хозяйстве поправляются, Аркадий стал крепким хозяином. Катерина родила сына – Николая. Фенечка и Катя стали не просто родственницами, а сердечными подругами. Павел Петрович уехал жить в Дрезден. Кукшина тоже уехала в Германию – в Гейдельберг и там занимается архитектурой. Ситников женился, но супруга полностью управляет им, считая дурачком. А Евгений Васильевич Базаров похоронен на отдаленном сельском кладище, его могила огорожена оградкой и около нее растут елки. Часто два сгорбленных старичка навещают надгробную плиту сына, они очень слабы и поддерживая друг друга, непрестанно плачут и молятся.

Записки охотника

Хорь и Калиныч

Автор, сам являясь заядлым охотником, знакомится с мелким калужским помещиком и таким же страстным охотником Полутыкиным. За ним водится правило предлагать руку и сердце любой богатой невесте во всей губернии, но получив отказ, он не слишком расстраивается, продолжая отправлять родственникам несостоявшейся жены все кислые продукты из своего сада. Его собаку звали «Астроном» и он был рьяным приверженцем французской кухни. Только все у него выходило наперекосяк: макароны пахли порохом, рыба – грибами, а мясо – рыбой. В остальном же, это был прекрасный человек.

В первый же день знакомства с Полутыкиным, тот зовет автора к себе на ночлег, но поскольку до его дома еще достаточно далеко идти, он предлагает зайти к Хорю – его работнику. Около дома этого мужика – в самой гуще леса – им навстречу выходит молодой и красивый парень Федор, который сообщает, что Хорь уехал в город. Полутыкин просит заложить для них телегу и еще, принести квасу. Вскоре паренек приносит на стол закуску из хорошего кваса, ломтя хлеба и соленых огурцов. Едва путники подкрепились, их телега уже поджидала под окнами. Помимо Федора, у Хоря еще очень много детей и все они, как на подбор, молоды, сильны и красивы.

Оказывается, что когда-то давно мужик, которого сейчас все называют Хорем, попросился у барина жить в его лесу на болоте, обещая платить за это хороший оброк. Барин ему это позволил и с тех пор, эта кличка так к нему и привязалась. Со временем, Хорь разбогател, зажил хорошо и стал платить еще больший оброк, чем раньше. Но совсем откупиться от барина и стать вольным отказывается.

На следующее утро, автор и Полутыкин сразу отправляются на охоту. Проезжая по деревушке, останавливаются около низенькой хаты, в которой живет Калиныч – высокий и худой мужичок, лет сорока. Его обязанностью было сопровождать барина на охоте, таскать его сумку и ружье, замечать, где садится птица, строить шалаш, бегать за дрожками – он был незаменимым помощником для Полутыкина, имел кроткий и добродушный нрав. Он догонят наших охотников, которые успели немного отъехать от его избы и отправляется, как обычно, с ними на охоту. Ведет себя открыто, весело и без раболепства. Полуденным зноем отводит уставших охотников к себе на пасеку и угощает свежим медом. Затем бродит с ними по лесу до самого вечера. И всем бы этот мужичок хорош, да только хозяйством как следует

не занимается из-за постоянных охот с барином.

На следующий день, Полутыкин отправился в город разрешать спор с соседом, а автор один пошел на охоту. Уже под вечер он зашел снова в дом Хоря – низкого, лысого и крепкого мужика. Федор угостил охотника молоком с черным хлебом, а его отец неспешно разговаривал с гостем о посевах, урожае, крестьянской жизни. Затем последний попросился на ночлег в сенный сарай Хоря и получив согласие, удобно там задремал. Утром все семейство собралось пить чай. Неожиданно, в гости зашел и Калиныч, которого хозяин очень тепло приветствовал – они были добрыми друзьями. Автор прогостил в доме Хоря три дня. За это время, он хорошенько пригляделся к товарищам и понял, что Хорь был рационалистом, крепко держал хозяйство, дружил с барином, имел большое семейство, на вещи смотрел здраво и рассудительно, был немногословен. А Калиныч был романтиком, много и с жаром говорил, хозяйство держалось вкривь и вкось, семьи у него не было. Зато, обладал он легкой рукой, умел заговаривать болезни, был очень близок с природой.

Хорь, как человек хозяйственный, рассказывал автору о том, как покупаются косы, серпы на деревне, про «орлов» и прочий повседневный быт, а последний – о своем путешествии за границу, об иностранных привычках и нравах. Оба приятеля всегда слушали его, открыв рты. Хозяин дома был не грамотен, а Калиныч умел читать, да проку от этого на деревне – не много. Жена Хоря была злой и сварливой старушкой, которая большей частью лежала на печи и ругалась, но всех своих невесток – а все, кроме Федора были уже женаты и жили вместе с отцом – держала в благоговейном страхе. Сам хозяин баб не любил, презирал их, считал глупыми и слугами мужиков.

Калиныч играл на балалайке и приятно пел, а Хорь с удовольствием того слушал. Так незаметно минуло три дня и вечером четвертого за автором пришла телега, отправленная Полутыкиным. Он тепло со всеми распрощался и уехал. На следующий день, он покинул гостеприимный дом помещика и отправился в свою вотчину за сто верст отсюда.

Ермолай и Мельничиха

Вечером автор вместе с охотником Ермолаем – высоким, худым, сорокапятилетним мужиком, зимой и летом носившем одну одежду, с сумками, вместо патронташа и вечно припухшей от ударов затвором ружья, щекой, отправляется на ночную охоту, называемую «тягой» – время сразу после захода солнца и наступления темноты. Была у Ермолая легавая собака – Валетка, он ее никогда не кормил, полагая, что пес сам найдет себе пропитание, а оттого был он тощим до ужаса, некрасивой наружности и угрюмым. Зато, обладал отменным чутьем и если случалось догнать подраненного зайца, то съедал его полностью, благоразумно отойдя от хозяина, который в это время изрядно ругался.

Ермолай был работником помещика старой закалки, жившего по соседству с автором. И его основной обязанностью было доставлять на господский стол тетеревов и куропаток. В остальном, он был вольной птицей, жил, где хотел и как хотел. Пороху и дроби ему не выдавали, но он всегда умудрялся сам их раздобыть, любил выпить, движения его были неуклюжими и неловкими. Однако из любых жизненных перипетий умел он с успехом выбраться и всегда был одет, с ружьем и собакой, даже если случалось потерять их прежних. Охотником и рыболовом он тоже был знатным. Была у него и супруга, жившая в старенькой, покосившейся избе. Он навещал ее раз в неделю. Часто бывал жесток и свиреп с ней, но дольше одного дня дома не задерживался.

Именно этот человек и сопровождает автора на охоте в большой березовой роще на берегу Исты. После убийства двух пар вальдшнепов, охотники решили переночевать на старой мельнице, а с рассветом снова идти на «тягу». Но слуга мельника не пустил их ночевать в дом и охотники решили лечь прямо во дворе, попросив только соломы. Вскоре хозяева подобрели и вынесли им самовар, молоко, яйца, картошку и автор уснул. А Ермолай разговорился с мельничихой – Ариной Тимофеевной женщиной лет тридцати, невероятно красивой в прошлом, но приятной и сейчас. Она жалуется ему на падеж скота, а он просит поросенка в подарок. И еще просит выпить и хозяйка отправляется в дом за спиртным. Арина болеет, но Ермолай не советует ей идти к доктору, а зовет к себе жить, обещая в этом случае прогнать жену.

Просыпается автор, ест и сам начинает говорить с женщиной. Оказывается, что та когда-то была горничной жены помещика

Зверкова Александра Силыча – глупого и жестокого человека. Он рассказывал о том, как взял Арину в услужение маленькой девочкой, из нее вышла очень хорошая горничная и все было замечательно, пока девушка не захотела выйти замуж. Хозяин крепко рассердился, остриг ей волосы и отправил из Петербурга в деревню. Но, по счастью, ее будущий муж – Савелий Алексеевич, выкупил у барина девушку. С тех пор так она и живет женой мельника.

Малиновая вода

В жаркий августовский полдень автор оказывается на охоте. Желая немного освежиться, он идет к известному всей округе ключу со студеной влагой, носившем название «Малиновой воды». Напившись, укладывается в тенек отдохнуть и замечает двух стариков, сидящих спиной к нему. Первый – плотный и высокий – ловил рыбу в реке, а второй – маленький и худой – подавал червей. Охотник узнал в нем Степушку – человека странного, без прошлого, никто о нем ничего не знал, был он незаметным и совершенно бесполезным существом. Летом он жил в клети, позади курятника, а зимой – в предбаннике или на сеновале. Постоянной его заботой было поиск собственного пропитания, он вечно чем-то бывал занят. Внешность имел неказистую и ничем не примечательную.

Вторым старичком оказался Михайло Савельев, имевший кличку «Туман». Он был вольноотпущенным работником графа Петра Ильича – некогда очень богатого и знатного чиновника, но позже разорившегося и умершего в нищете. Туман служил дворецким у него.

Автор интересуется у старичков уловом и рассказывает, что иногда устраивает псовую охоту со своими двумя сворами. А Михайло хвастается тем, какие, бывало, раньше выезды с собаками устраивал граф, как все было богато и чинно.

По овражистому берегу реки Исты спускается мужичок, лет пятидесяти в лаптях и с котомкой за плечами. Зовут его Влас. Он ходил просить барина снизить ему оброк, но тот только рассердился и выгнал его прочь. Этот барин – сын Петра Ильича, но слывет несговорчивым и жадным.

Все вместе немного помолчали, услышали заунывную песню с другого берега реки и загрустили. Через полчаса все разошлись.

Уездный лекарь

Автор простужается в осеннюю, ненастную погоду и заболевает. Поскольку лихорадка начинается в гостинице уездного города, он отправляет за лекарем. Последний – не высокого роста, худой и черными волосами. Назначив лечение, он остается поболтать. И рассказывает историю о судье Мылове Павле Лукиче.

Однажды, в великий пост доктор был дома у судьи и играл в преферанс. Ему приносят записку, в которой сообщается о болезни дочери помещицы-вдовы и просьба приехать. Понимая, что вдова небогата и хорошего вознаграждения ждать не стоит, лекарь все равно решается ехать, хотя на дворе ночь и двадцать верст в пути.

По приезду он видит маленький домик с соломенной крышей и его встречает почтенная старушка в чепце. Больная была двадцатилетней девушкой, очень красивой наружности. Жалко стало ее доктору. Прописал он ей лечение и залюбовался. Вскоре девушка очнулась от горячки, оглянулась вокруг и заснула. Все вышли из ее комнаты.

Врачу постелили в гостиной, но ему не спалось, все не мог он забыть той красавицы. Он отправляется ее проведать и видит, что у той снова жар и она в бреду шепчет на ухо доктору какой-то свой секрет, но тот ничего разобрать не может.

На следующий день больной легче не стало и доктор решил остаться с ней еще на несколько дней. Она ему очень нравилась, а он понравился ей. Ее звали Александрой Андреевной. Из-за весенней распутицы дороги стали совсем плохие и достать нужное лекарство становилось все труднее. А больной становилось все хуже и хуже. Сильно переживал доктор, успевший по-настоящему в нее влюбиться. Понимал, что та по сути, умирает, но продолжал бороться за ее жизнь. В одну из ночей, она внезапно очнулась от жара и спросила доктора, насколько опасна ее болезнь, мысль о смерти ее совсем не пугала, даже радовала. Она признается доктору в любви и неожиданно целует. Он не верит своим ушам и очень рад.

Но о выздоровлении речи не идет, больной все хуже с каждым днем. Уже и доктор ждет, когда же закончится эта пытка. Александра постоянно повторяет, что не долго ей осталось, а на душе у Трифона – так врача зовут – скребутся кошки, ему тяжко это слышать. Зашедшей к ней как-то не кстати в комнату старушке-матери, она сообщает, что собралась замуж за доктора и даже подарила ему кольцо. На следующий день девушка

действительно умирает.

Трифон с тех пор успел жениться на купеческой дочке Акулине, но до сих пор помнит Александру Андреевну. Оба немножко помолчали и потом пациент и доктор начали играть в преферанс.

Мой сосед Радилов

Однажды, во время осенней охоты на вальдшнепов, автор вместе с Ермолаем забрел в заброшенный сад, где эта птица особенно часто встречается. И действительно, при их приближении взлетел большой вальдшнеп, которого охотник застрелил. В эту минуту раздался женский испуганный крик, а Ермолай сообщил, что в этом поместье живет помещик. Через несколько минут и сам он собственной персоной предстал перед автором. Последний извинился за вторжение и оно было принято с приглашением пообедать. Помещик оказался соседом автора – Радиловым.

Они приходят в дом Радилова и он знакомит гостей со своей старушкой-матерью и Федором Михеичем – ранее бывшим помещиком и теперь разорившимся. Последний весело играет на скрипке. Знакомят автора и с Ольгой – не очень красивой, но миловидной молодой девушкой. Она – сестра покойной супруги хозяина.

Последний был славным малым, хотя автор никак не мог разобраться, что же творится у того в душе, его ничто не интересовало, но не был мрачным и нелюдимым. Наоборот, располагающим к себе. Просто ни с кем по-настоящему сблизиться не мог. Ольга тоже производила очень приятное впечатление, ее жесты и походка были решительными, спокойными и свободными. Так ведут себя люди отдыхая либо от большой тревоги, либо от большого счастья.

Радилов рассказывает, что был три года женат, но супруга умерла в родах. Он сильно расстроился, это было большое горе, но плакать никак не мог. Пока однажды не увидел ее лежащей на столе летним утром. И так сильно тогда расплакался, что очень долго не мог успокоиться. В молодости он прослужил около десяти лет в армейском пехотном полку и бывал в Турции.

Рано утром автор вместе с Ермалаем отправился на охоту и домой. Через неделю первый снова заехал к Радилову, но ни его, ни Ольги не застал дома. Еще через две недели стало ясно, что сосед исчез – просто неожиданно уехал в неизвестном направлении. Спустя еще какое-то время, автор поинтересовался у старушки-матери о сыне, но та только разрыдалась. Больше вопросов он задавать не стал.

Однодворец Овсяников

Овсяников – человек высокий, плотный семидесяти лет отроду. Однодворец, но все его уважали, кланялись перед ним. Считалось большой честью дружить с ним. Помещиком он никогда не был, но держался с таким достоинством и одевался так опрятно, что с него брали пример, гордились им. Хозяйство его было небольшое, но крепкое: аккуратный домик, немного слуг. Это был человек старой закалки, уважавший древние традиции.

Овсяников рано вставал и ложился, по субботам ходил в баню, читал только церковные книги и всегда спал после обеда. Но бороду он брил и волосы носил на немецкий манер. Гостям радовался, но не суетился вокруг них, а спокойно просил жену дать гостям чем-нибудь полакомиться. Хлеб не продавал, считая это грехом, а просто роздал его всем соседским помещикам и мужикам, когда был страшный голод. В благодарность, те на следующий год вернули ему долг припасами.

Он был всегда спокоен и невозмутим. Терпеть не мог суетливости. Даже, когда его дом загорелся и работник торопливо прибежал его спасать охая и ахая, тот попросил не горячиться и подать костыль. Только после этого вышел на улицу. Часто ему приходилось улаживать споры между соседями, все бежали к нему за советом. Только в женские распри он никогда не совался. Супруга Овсяникова – Татьяна Ильинична – полностью соответствовала мужу. Была так же высока, крепко сбита, спокойна и строга. Детей у них не было.

Автор познакомился с ним у Радилова и через два дня отправился к нему в гости. Он его принял, как обычно, вежливо и спокойно. Зашел разговор о том, лучше ли жилось раньше или нет. И Овсяников сказал, что сейчас лучше. Раньше простого мужика часто обижали. И рассказал как дедушка автора отобрал землю у отца рассказчика, которая сейчас называется Дубовщиной – была палкой отнята. О чудном соседе, который постоянно врал по пьяни – Степане Никтополионовиче Комове. О поездке в Москву, хоть и очень давно. О графе Алексее Григорьевиче Орлове-Чесменском, его величии, доброте и справедливости. О небывалом собрании охотников со всего царства и о том, как собака Миловидка всех обскакала и как ни просил граф, а дедушка автора ее не продал.

Говорит о том, что нынешние дворяне и помещики обмельчали, уже совсем не то, что прежде бывало. Сетует на умение говорить, но неумение делать что-то путное молодыми

господами. Приводит в пример пустозвонство Королева Александра Владимировича, странность Василия Николаевича Любозвонова. Рассказывает о своем непутевом племяннике Мите, который учился в университете, бросил армию и подался в ябедники. Овсяников переживает, что парнишка может плохо кончить.

Оказывается, что последний недавно приходил просить прощения у уважаемого родственника и сейчас в доме, поэтому Митю пригласили войти в комнату и простить в честь визита гостя. Вскоре на пороге появился паренек лет двадцати восьми, высокий и стройный, он смутился, увидев гостя. Дядька просит его рассказать, чего он опять набедокурил, но племяннику совестно говорить при чужих, а Овсяников настаивает. Молодой человек рассказывает о своих провинностях, но всячески выгораживает себя, дескать он прав во всем, а люди не так истолковывают.

Как только Митя вышел, в комнату зашел Лежёнь Франц Иванович – низенький седой человек. В свое время он служил барабанщиком в армии Наполеона и сперва всем был доволен, но после того, как французов разбили под Москвой, он, едва живой от холода, попался русским мужикам, вздумавшим его утопить. И спас его только неведомо откуда взявшийся помещик в волчьей шубе, взяв в свой дом учителем музыки для дочерей. Через две недели Лежёнь переехал к другому помещику, с которым подружился. Женился на его воспитаннице, выдал дочь замуж за орловского помещика Лобызаньева и сам поселился в Орле.

Льгов

Ермолай приглашает автора поехать в Льгов, где можно всласть настрелять уток. И поскольку другой дичи еще не было, решено отправиться в путь. Льгов – большое степное село с древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на речке Росоте. Эта болотистая речка через пять верст от села превращалась в пруд, сильно заросший тростником. И именно в этом пруду водилось невероятное количество самых разнообразных уток. Иногда они целыми огромными стаями взмывали вверх, заслышав выстрел. Но с берега охотиться было не удобно и охотники решили вернуться за лодкой.

Не успели они отойти от пруда, как им навстречу выбежала неказистая легавая собака, а за ней показался человек среднего роста в сильно изношенном сюртуке. На вид ему было лет двадцать пять и он представился Владимиром, предложил свои услуги по сопровождению на охоте. Он был вольноотпущенным, учился когда-то грамоте и музыке, а теперь просто нищенствовал.

Пока Ермолай с Владимиром искали лодку, автор внимательно рассматривал древнюю церковь, могилы на кладбище. Появились мужчины со странным старичком, которого звали Сучком и у него была лодка, но в очень плохом состоянии. Он вызвался сам поехать с охотниками и грести специальным шестиком, поскольку пруд не глубок и веслами никак нельзя. Дыры в лодке заделали паклей, но несмотря на это, на дне скоро появилась вода. По счастью, пруд был тих. Они медленно поплыли. А уже около тростника началась настоящая охота и лодка вскоре наполнилась дичью.

Собираясь вернуться назад, охотники решили напоследок пострелять еще уток и не заметили как лодка сильно наполнилась водой, которую должен был выгребать Владимир. Но со своей работой он справлялся плохо и лодка опрокинувшись, пошла на дно. Все оказались по горло в воде, окруженные плавающими телами застреленных уток.

Положение спас Ермолай, который мужественно отправился искать брод, не умея при этом плавать. Прошел час и нашим замерзшим охотникам он показался вечностью. Наконец, спасатель вернулся, забрал всех убитых уток и вывел всю компанию на берег. Через два часа охотники обсыхали в большом сенном сарае и собирались ужинать.

Бежин луг

Погожим июльским деньком автор охотится на тетеревов в Чернском уезде Тульской губернии. Дичи было за целый день настреляно много и смеркалось, поэтому рассказчик решил вернуться домой. И заблудился. Ночь совсем уже вошла в свои права, а охотник все никак не мог разобраться, где же он находится. Отчаявшись найти правильную дорогу, он просто побрел вперед на удачу. Внезапно, перед ним оказалась огромная бездна и охотник быстро одернул занесенную вперед ногу. Присмотревшись, увидел далеко внизу огромную равнину и на ней два огонька. Наконец, он понял, что перед ним «Бежин луг», но идти домой сил уже не было, поэтому автор спустился вниз, чтобы дождаться зари с этими людьми.

Оказалось, что огонь развели мальчишки из разных деревень, стерегущие табун. Ночью скоту можно вволю напастись, не опасаясь жары и оводов. Уставший охотник познакомился с детьми и улегся спать под ближайшим кустом. Мальчиков звали: Ильюша, Павлуша, Федя, Костя и Ваня. Самый старший из них был Федя и происходил из богатой семьи. Он был одет лучше всех и в поле пошел из удовольствия, а не нужды. Другие мальчишки были одеты гораздо беднее и младше первого, которому было около четырнадцати лет.

Полагая, что незнакомец спит, детвора снова начала прерванный разговор про домового. В котелке на костре варилась картошка, а пока она готовилась, они травили друг другу всякие страшные байки и небылицы. Павел отошел к реке, чтобы набрать воды и вернувшись, рассказал товарищам, что слышал голос утопленника. Они сказали, что это дурная примета, но тот лишь отмахнулся, дескать, от судьбы не уйдешь.

Едва забрезжил рассвет и дети спали около давно потухшего костра, а автор попрощался с внезапно проснувшимся Павлом и пошел домой.

К сожалению, в том году действительно погиб Павлик, упав с лошади.

Бирюк

Автор вечером на беговых дрожках возвращается с охоты. Темнеет и собирается гроза. Он быстро въехал в лес и разразилась непогода. Охотник укрылся под ближайшим широким кустом, собираясь переждать бурю. Внезапно, он замечает на дороге высокую фигуру человека. Оказывается, что это местный лесник. Он приглашает путника в свою избу и тот с радостью соглашается.

Дорога была длинной и, наконец, они подъезжают к небольшой избе. Дверь им открывает девочка лет двенадцати – дочь лесника – Улита. Прямо в центре бедной и закопченной мужицкой избы была люлька и в ней спал ребенок. Сам лесник был высок ростом, прекрасно сложен и силен. Его зовут Фомой и по прозвищу «Бирюк». О нем ходят легенды, что он никогда никому спуску не дает, из его леса нельзя вынести и вязанки дров. Не поддается ни на вино, ни на деньги. Его даже собирались совсем со свету сжить, да не вышло.

Он живет без жены, которая сбежала со случайным прохожим мещанином и оставила двоих детей. Угостить автора ему нечем, нету даже чая. Лесник сообщает, что гроза заканчивается и предлагает гостю вывести того из леса, а сам берет ружье, поскольку слышит, что в лесу рубят дерево. Охотник вызывается идти с ним и вместе они приходят на место кражи, где какой-то бедный мужичок срубил дерево. Лесник его связал и привел в свою избу. Тем временем, дождь полил снова и пришлось переждать его в гостях.

А бедняк начал ныть, чтобы Бирюк его отпустил, объяснял, что своровал из-за нужды. Потом стал угрожать леснику расправой. В конце концов, последний просто выкинул его вон из своей избы.

Понимая, что дождь зарядил надолго, Бирюк проводил охотника и вскоре расстался с ним на опушке леса.

Касьян с красивой мечи

Рассказчик возвращается с охоты в тряской телеге и сморенный летним зноем, дремлет. Прикорнул и его кучер. Внезапно, последний проснулся, очень оживился и начал прикрикивать на лошадей, чтобы те шли скорее. Проснулся и автор, не понимая, что происходит. Оглянувшись по сторонам, он замечает похоронный поезд и именно его так стремится обогнать извозчик, опасаясь дурной приметы.

Они действительно сумели обогнать эту мрачную процессию, но вскоре в телеге сломалась ось и двигаться дальше стало невозможно. Кучер сказал, что хоронят Мартына-плотника.

Вскоре транспортное средство было решено попытаться довезти до выселок хотя бы. Последние представляют собой несколько убогих, покосившихся хат. Автор не находит ни одной живой души в первой из них, куда он зашел. Встречает странного старика-карлика, спящего прямо на земле во второй хате. Старик отказывается помочь. Охотник очень просит и Касьян – так зовут карлика, соглашается отвезти того на ссечки, где можно самому заказать или купить готовую ось. Кучер Ерофей остается, а барин с Касьяном-Блохой отправляются в путь.

Приехали они очень быстро, сторговали ось и автор пошел охотиться, а Блоха попросился идти с ним. Всю дорогу оба молчали. Уже в конце, изрядно находившись и подстрелив коростель, Касьян вдруг разразился гневной речью о том, что грешно убивать любую тварь божью. Оказывается, что он грамотен, но работать не умеет. Так и перебивается на свете, как получится. Еще, ему знакомы всякие целебные травы и заговоры, которые вместе с молитвой иногда могут чудеса творить.

Охотник с Блохой возвращаются на выселки, где их ожидает кучер. Последний прилаживает ось и через час путешествие домой возобновляется. Автор расспрашивает Ерофея о Касьяне, они беседуют. А новая ось все никак не желает исправно работать, ее, разгоряченную, приходится несколько раз остужать водой, чтобы не загорелась. Домой они добрались очень поздно.

Бурмистр

На сравнительно небольшом расстоянии от автора живет его сосед – отставной гвардейский офицер Аркадий Павлович Пеночкин. Он образован, гостеприимен, обеды дает отличные, своих работников одевает по-английски. Знаком с высшим обществом и сейчас с упоением занимается хозяйством в своем имении.

Несмотря на невысокий рост, очень хорош собой и дамы его боготворят. Считается самым завидным женихом во всей губернии. Дома у него всегда чисто и опрятно, везде царит комфорт, но ехать к нему почему-то не хочется. Тоска и беспокойство завладевают человеком всякий раз в его обществе.

Из-за обилия всяческой дичи, автор иногда бывает в этом имении и однажды ему даже пришлось там переночевать. Рано утром он хотел уехать, но хозяин настоял на завтраке на по-английски – плотное кушанье с утра. Узнав, что сосед направляется в места, не далекие от имения Аркадия Павловича – Шипиловки, он отправляется с ним, чтобы навестить это свое имение.

Проехав по деревне, путники оказались около дома бурмистра, стоявшего отдельно от остальных в густом конопляник. Перед этим их встретил староста – сын бурмистра и сообщил, что отец уехал в Перов, но за ним уже послали. Жена бурмистра поклонилась барину, который распорядился внести в дом свои многочисленные сундуки с платьем, бельем, провизией и пр. Явился сам бурмистр – маленький, плотный человек с бородой веером. Он был немного пьян. Подали ужин и пока Аркадий насыщался, его верный и преданный работник рассказывал о состоянии дел в имении. Стемнело и господа легли спать.

На следующее утро отправились смотреть насколько хорошо управляется имение и все действительно оказалось в полном порядке. Господский лес тоже был в прекрасном состоянии и изобиловал дичью всяческой. И все бы ничего, но общую картину изрядно испортили просители, обвинившие бурмистра в жестокости.

Через два часа автор был уже в Рябове и собирался с одним знакомым работником – Анпадистом на охоту. Последний рассказывает, что бурмистр – страшный человек, знаменит своей жестокостью, жадностью и, по сути, сам владеет Шипиловкой – делает там все, что хочет и никто ему не указ. А барину главное, чтобы оброк выплачивали вовремя – значит и хорошо там все по

его разумению. И это далеко не всегда так.

Стихотворения в прозе

Деревня

Идиллическая зарисовка зажиточной русской деревни, лежащей в овражке. С крепкими избами, хорошим хозяйством, обильным урожаем. Никто не голоден и не страдает. Вокруг – замечательная природа. Люди ладят друг с другом. Молодцы красивы, сильны и здоровы, девушки – стеснительны, прекрасны и домовиты. Много детей. Нет обид, нищеты, болезней.

Как нет и ничего лучше этой сытой, вольной русской деревни. Не ведомы этим людям заботы, столь занимающие городского жителя.

Разговор

На самой вершине Альп, прямо в центре горной цепи находятся два величественных исполина, утесы-великаны – Юнгфрау и Финстерааргорн. Они обмениваются между собой вопросами. Первый просит посмотреть, что там творится внизу. Проходит несколько тысяч лет – одна минута. Второй отвечает, что ничего не видно из-за облаков. Проходит еще минутка – несколько тысяч лет и вопрос повторяется. На этот раз видит Финстерааргорн двуногих козявок, копошащихся у их основания, леса и озера.

Еще через несколько тысяч лет ответ на вопрос Юнгфрау звучит радостнее – людишек, этих двуногих коротышек стало меньше. Проходит еще минутка – тысячи лет и Финстерааргорн радостно сообщает, что все почти расчистилось, лишь вдали виднеются какие-то пятна и что-то шевелится.

Минула и еще одна минутка – тысячелетия и людей на земле не осталось. Все бело и чисто вокруг. Красота!

Тексты

Хорь и Калиныч

Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой… Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью… И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку. В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть «Пинну»; заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо *однако* говорил *одначе* и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба – грибами, макароны –

порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек. В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе. – До меня верст пять будет, – прибавил он, – пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.) – А кто такой Хорь? – А мой мужик… Он отсюда близехонько. Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый. – А, Федя! Дома Хорь? – спросил его г-н Полутыкин. – Нет, Хорь в город уехал, – отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. – Тележку заложить прикажете? – Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу. Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» – заметил Полутыкин. «Всё Хорьки, – подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, – да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город… Смотри же, Вася, – продолжал он, обращаясь к кучеру, – духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» – торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора, – сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, – хотите

зайти?» – «Извольте». – «Она теперь упразднена, – заметил он, слезая, – а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, – проговорил г-н Полутыкин, – а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, – сказал мне Полутыкин, – это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, – заметил мой новый приятель. – В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома. – Скажите, пожалуйста, – спросил я Полутыкина за ужином, – отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков? – А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. – «Да зачем тебе селиться на болоте?» – «Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». – «Пятьдесят рублев в год!» – «Извольте». – «Да без недоимок у меня, смотри!» – «Известно, без недоимок…» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали. – Ну, и разбогател? – спросил я. – Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету… Да, как бы не так!.. На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» – «Сейчас, батюшка, сейчас, – раздался голос со двора, – лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устроивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду.

Ходил он нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев. Легкий порыв ветерка разбудил меня… Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч – добрый мужик, – сказал мне г. Полутыкин, – усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, одначе, содержать не может: я его всё оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит… Какое уж тут хозяйство, – посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать. На другой день г-н Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик – лысый, низкого роста, плечистый и плотный – сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов. Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте… Он со мной всё как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то… Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности… Вот вам образчик нашего разговора: – Послушай-ка, Хорь, – говорил я ему, – отчего ты не откупишься от своего барина? – А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина

знаю и оброк свой знаю… барин у нас хороший. – Всё же лучше на свободе, – заметил я. Хорь посмотрел на меня сбоку. – Вестимо, – проговорил он. – Ну, так отчего же ты не откупаешься? Хорь покрутил головой. – Чем, батюшка, откупиться прикажешь? – Ну, полно, старина… – Попал Хорь в вольные люди, – продолжал он вполголоса, как будто про себя, – кто без бороды живет, тот Хорю и на́больший. – А ты сам бороду сбрей. – Что борода? борода – трава: скосить можно. – Ну, так что ж? – А, знать, Хорь прямо в купцы попадет; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах. – А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? – спросил я его. – Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком… Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить? «Крепок ты на язык и человек себе на уме», – подумал я. – Нет, – сказал я вслух, – тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае. – Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы! – вскричал он, поднимаясь с места, – сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый. Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два; собака с достоинством на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать… Я, наконец, задремал. На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной. – Самовар тебе готов, – сказал он мне с улыбкой, – пойдем чай пить. Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу. – Что у тебя за рослый народ! – заметил я старику. – Да, – промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару, – на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего. – И все с тобой живут? – Все. Сами хотят, так и живут. – И все женаты? – Вон один, пострел, не женится, – отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. – Васька, тот еще молод, тому погодить можно. – А что мне жениться? – возразил Федя, – мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли? – Ну, уж ты… уж я тебя знаю! кольца серебряные носишь… Тебе бы всё с дворовыми девками

нюхаться… «Полноте, бесстыдники!» – продолжал старик, передразнивая горничных. – Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой! – А в бабе-то что хорошего? – Баба – работница, – важно заметил Хорь. – Баба мужику слуга. – Да на что мне работница? – То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата. – Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь? – Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось… А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться. Федя покачал головой… – Дома Хорь? – раздался за дверью знакомый голос, – и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика. Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек… Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же – к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного

вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек – полтора рубля ассигнациями; в долг – три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем; он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближенье и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», – важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают, не в городе, – в город надо самим тащиться, – а приезжим торгашам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей – а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он «усердствует»! Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не всё рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что

я бывал за границей, и любопытство его разгорелось… Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал всё по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, – как же?..» – «А! ах, господи, твоя воля!» – восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо – это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого; вероятно, никак не ожидают читатели, – убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему всё равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положенья, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положенье. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познанья были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч – умел. «Этому шалопаю грамота далась, – заметил Хорь, – у него и пчелы отродясь не мерли». – «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». – «А другие?» – «Другие не знают». – «А что́?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьешь ты жены, не бьешь молодой…» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими… пустяками заниматься, – пускай бабы ссорятся… Их что разнимать – то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку,

приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» – и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», – говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» – возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик…» – «Да вот и я мужик, а вишь…» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» – отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». – «Он мне дает на лапти». – «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно. Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню: «Доля ты моя, доля!» Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю… Зато в другое время не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается – телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть». – Посмотри-ка, – возразил я ему, – как у Калиныча на пасеке чисто. – Пчелы бы жить не стали, батюшка, – сказал он со вздохом. «А что, – спросил он меня в другой раз, – у тебя своя вотчина есть?» – «Есть». – «Далеко отсюда?» – «Верст сто». – «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» – «Живу». – «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» – «Признаться, да». – «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов да старосту меняй почаще». На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, – сказал я… – Прощай, Федя». – «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», – заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет, – возразил мне Калиныч, – утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и всё глядел да глядел на зарю… На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

Ермолай и Мельничиха

Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»… Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа. За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу, с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда… Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается всё выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых, веток к неподвижным, засыпающим верхушкам… Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают – не все вдруг – по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу всё темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятли одни еще сонливо посвистывают… Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданьем, и вдруг – но одни охотники поймут меня, – вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл, – и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу. Вот что значит «стоять на тяге». Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем. Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил и зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и для дроби, другой сзади – для дичи; хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой, шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе

патронташ и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья – и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака, по прозванью Валетка, преудивительное созданье. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить, – рассуждал он, – притом пес – животное умное, сам найдет себе пропитанье». И действительно: хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил; даже, несмотря на свое бедственное положенье, ни разу не пропадал и не изъявлял желанья покинуть своего хозяина. Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете… Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово: разочарованность. Он обыкновенно сидел, подвернувши под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. (Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью; но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное; но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслажденьем всего, до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах. Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят «куликов» и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как-то: во дни рождений, именин и выборов повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы,

что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревей и куропаток, а в прочем позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека ни на какую работу не годного – «лядащего», как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок – и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго – и всё-таки, через несколько времени, возвращался домой, одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа; он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго: встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, чёрт, идешь? Ночь на дворе». – «А в Чаплино». – «Да на что тебе тащиться в Чаплино, за десять верст?» – «А там у Софрона-мужичка переночевать». – «Да ночуй здесь». – «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ночь, через кусты да водомоины, а мужичок Софрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще, чего доброго, шею ему намнет: не беспокой-де честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом»… Одного он не умел: дрессировать собак; терпенья недоставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жёстко и грубо, принимал у себя дома грозный и суровый вид, – и бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось

подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости: мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома; а на чужой стороне превращался опять в «Ермолку», как его прозвали на сто верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой – и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно; а мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры… Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу, на берегу Исты. У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на десять с своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и гусиными стадами. Рыбы в Исте бездна, особливо головлей (мужики достают их в жар из-под кустов руками). Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами; дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются; цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами… Мы стояли на тяге около часу, убили две пары вальдшнепов и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастия (на тягу можно также ходить поутру), решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны; воздух густел, отягченный ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе. «Кто тут?» – раздался сиплый и заспанный голос. «Охотники: пусти переночевать». Ответа не было. «Мы заплатим». – «Пойду скажу хозяину… Цыц, проклятые!.. Эк на вас погибели нет!» Мы слышали, как работник вошел в избу; он скоро вернулся к воротам. «Нет, – говорит, – хозяин не велит пускать». – «Отчего не велит?» – «Да боится; вы охотники: чего доброго, мельницу зажжете; вишь, у вас снаряды какие». – «Да что за вздор!» – «У нас и так в запрошлом году мельница сгорела: прасолы переночевали, да, знать, как-нибудь и подожгли». – «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе!» – «Как знаете…» Он ушел, стуча сапогами. Ермолай посулил ему разных неприятностей. «Пойдемте в деревню», – произнес он, наконец, со вздохом. Но до деревни было версты две… «Ночуем здесь, – сказал я, – на дворе ночь теплая; мельник за деньги нам

вышлет соломы». Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. «Да что вам надобно? – раздался снова голос работника, – сказано, нельзя». Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка заскрипела. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. Во ста шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый, навес. Нам принесли туда соломы, сена; работник на траве подле реки наставил самовар и, присев на корточки, начал усердно дуть в трубу… Уголья, вспыхивая, ярко освещали его молодое лицо. Мельник побежал будить жену, предложил мне сам, наконец, переночевать в избе; но я предпочел остаться на открытом воздухе. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофелю, хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. С реки поднимались пары, ветру не было; кругом кричали коростели; около мельничных колес раздавались слабые звуки: то капли падали с лопат, сочилась вода сквозь засовы плотины. Мы разложили небольшой огонек. Пока Ермолай жарил в золе картофель, я успел задремать… Легкий сдержанный шёпот разбудил меня. Я поднял голову: перед огнем, на опрокинутой кадке, сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде, по ее платью, телодвижениям и выговору, узнал в ней дворовую женщину – не бабу и не мещанку; но только теперь я рассмотрел хорошенько ее черты. Ей было на вид лет тридцать; худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной; особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она оперла локти на колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиною и подкладывал щепки в огонь. – В Желтухиной опять падеж, – говорила мельничиха, – у отца Ивана обе коровы свалились… Господи помилуй! – А что ваши свиньи? – спросил, помолчав, Ермолай. – Живут. – Хоть бы поросеночка мне подарили. Мельничиха помолчала, потом вздохнула. – С кем вы это? – спросила она. – С барином – с костомаровским. Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь; ветки тотчас дружно затрещали, густой белый дым повалил ему прямо в лицо. – Чего твой муж нас в избу не пустил? – Боится. – Вишь, толстый брюхач… Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стаканчик винца! Мельничиха встала и исчезла во мраке. Ермолай запел вполголоса:

Как к любезной я ходил,
Все сапожки обносил…

Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. «Люблю!» – прибавил он. Мельничиха опять присела на кадку. – А что, Арина Тимофеевна, чай, всё хвораешь? – Хвораю. – Что так? – Кашель по ночам мучит. – Барин-то, кажется, заснул, – промолвил Ермолай после небольшого молчания. – Ты к лекарю не ходи, Арина: хуже будет. – Я и то не хожу. – А ко мне зайди погостить. Арина потупила голову. – Я свою-то, жену-то, прогоню на тот случай, – продолжал Ермолай… – Право-ся. – Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович: видите, картофель испекся. – А пусть дрыхнет, – равнодушно заметил мой верный слуга, – набегался, так и спит. Я заворочался на сене. Ермолай встал и подошел ко мне. – Картофель готов-с, извольте кушать. Я вышел из-под навеса; мельничиха поднялась с кадки и хотела уйти. Я заговорил с нею. – Давно вы эту мельницу сняли? – Второй год пошел с троицына дня. – А твой муж откуда? Арина не расслушала моего вопроса. – Откелева твой муж? – повторил Ермолай, возвыся голос. – Из Белева. Он белевский мещанин. – А ты тоже из Белева? – Нет, я господская… была господская. – Чья? – Зверкова господина. Теперь я вольная. – Какого Зверкова? – Александра Силыча. – Не была ли ты у его жены горничной? – А вы почему знаете? – Была. Я с удвоенным любопытством и участьем посмотрел на Арину. – И твоего барина знаю, – продолжал я. – Знаете? – отвечала она вполголоса – и потупилась. Надобно сказать читателю, почему я с таким участьем посмотрел на Арину. Во время моего пребывания в Петербурге я случайным образом познакомился с г-м Зверковым. Он занимал довольно важное место, слыл человеком знающим и дельным. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая – дюжинное и тяжелое созданье; был и сынок, настоящий барчонок, избалованный и глупый. Наружность самого г. Зверкова мало располагала в его пользу: из широкого, почти четвероугольного лица лукаво выглядывали мышиные глазки, торчал нос, большой и острый, с открытыми ноздрями; стриженые седые волосы поднимались щетиной над морщинистым лбом, тонкие губы беспрестанно шевелились и приторно улыбались. Г-н Зверков стоял обыкновенно, растопырив ножки и заложив толстые ручки в карманы. Раз как-то пришлось мне ехать с ним вдвоем в карете за город. Мы разговорились. Как человек опытный, дельный, г. Зверков начал наставлять меня на «путь истины». – Позвольте мне вам заметить, – пропищал он наконец, – вы все, молодые люди, судите и толкуете обо всех вещах наобум; вы мало знаете собственное свое отечество; Россия вам, господа, незнакома, вот что!.. Вы всё только немецкие книги

читаете. Вот, например, вы мне говорите теперь и то, и то насчет того, ну, то есть, насчет дворовых людей… Хорошо, я не спорю, всё это хорошо; но вы их не знаете, не знаете, что это за народ. (Г-н Зверков громко высморкался и понюхал табаку.) Позвольте мне вам рассказать, например, один маленький анекдотец: вас это может заинтересовать. (Г-н Зверков откашлянулся.) Вы ведь знаете, что у меня за жена; кажется, женщину добрее ее найти трудно, согласитесь сами. Горничным ее девушкам не житье, – просто рай воочию совершается… Но моя жена положила себе за правило: замужних горничных не держать. Оно и точно не годится: пойдут дети, то, се, – ну, где ж тут горничной присмотреть за барыней как следует, наблюдать за ее привычками: ей уж не до того, у ней уж не то на уме. Надо по человечеству судить. Вот-с проезжаем мы раз через нашу деревню, лет тому будет – как бы вам сказать, не солгать, – лет пятнадцать. Смотрим, у старосты девочка, дочь, прехорошенькая; такое даже, знаете, подобострастное что-то в манерах. Жена моя и говорит мне: «Коко, – то есть, вы понимаете, она меня так называет, – возьмем эту девочку в Петербург; она мне нравится, Коко…» Я говорю: «Возьмем, с удовольствием». Староста, разумеется, нам в ноги; он такого счастья, вы понимаете, и ожидать не мог… Ну, девочка, конечно, поплакала сдуру. Оно действительно жутко сначала: родительский дом… вообще… удивительного тут ничего нет. Однако она скоро к нам привыкла; сперва ее отдали в девичью; учили ее, конечно. Что ж вы думаете?.. Девочка оказывает удивительные успехи; жена моя просто к ней пристращивается, жалует ее, наконец, помимо других, в горничные к своей особе… замечайте!.. И надобно было отдать ей справедливость: не было еще такой горничной у моей жены, решительно не было; услужлива, скромна, послушна – просто всё, что требуется. Зато уж и жена ее даже, признаться, слишком баловала; одевала отлично, кормила с господского стола, чаем поила… ну, что только можно себе представить! Вот этак она лет десять у моей жены служила. Вдруг, в одно прекрасное утро, вообразите себе, входит Арина – ее Ариной звали – без доклада ко мне в кабинет – и бух мне в ноги… Я этого, скажу вам откровенно, терпеть не могу. Человек никогда не должен забывать свое достоинство, не правда ли? «Чего тебе?» – «Батюшка, Александр Силыч, милости прошу». – «Какой?» – «Позвольте выйти замуж». Я, признаюсь вам, изумился. «Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету?» – «Я буду служить барыне по-прежнему». – «Вздор! вздор! барыня замужних горничных не держит». – «Маланья на мое место поступить может». – «Прошу не рассуждать!» – «Воля ваша…» Я, признаюсь,

так и обомлел. Доложу вам, я такой человек: ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность… Ведь вам говорить нечего, – вы знаете, что у меня за жена: ангел во плоти, доброта неизъяснимая… Кажется, злодей – и тот бы ее пожалел. Я прогнал Арину. Думаю, авось опомнится; не хочется, знаете ли, верить злу, черной неблагодарности в человеке. Что ж вы думаете? Через полгода опять она изволит жаловать ко мне с тою же самою просьбой. Тут я, признаюсь, ее с сердцем прогнал и погрозил ей, и сказать жене обещался. Я был возмущен… Но представьте себе мое изумление: несколько времени спустя приходит ко мне жена, в слезах, взволнована так, что я даже испугался. «Что такое случилось?» – «Арина…» Вы понимаете… я стыжусь выговорить. «Быть не может!.. кто же?» – «Петрушка лакей». Меня взорвало. Я такой человек… полумер не люблю!.. Петрушка… не виноват. Наказать его можно, но он, по-моему, не виноват. Арина… ну, что ж, ну, ну, что ж тут еще говорить? Я, разумеется, тотчас же приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но делать было нечего: беспорядок в доме терпеть, однако же, нельзя. Больной член лучше отсечь разом… Ну, ну, теперь посудите сами, – ну, ведь вы знаете мою жену, ведь это, это, это… наконец, ангел!.. Ведь она привязалась к Арине, – и Арина это знала и не постыдилась… А? нет, скажите… а? Да что тут толковать! Во всяком случае, делать было нечего. Меня же, собственно меня, надолго огорчила, обидела неблагодарность этой девушки. Что ни говорите… сердца, чувства – в этих людях не ищите! Как волка ни корми, он всё в лес смотрит… Вперед наука! Но я желал только доказать вам… И г. Зверков, не докончив речи, отворотил голову и завернулся плотнее в свой плащ, мужественно подавляя невольное волнение. Читатель теперь, вероятно, понимает, почему я с участием посмотрел на Арину. – Давно ты замужем за мельником? – спросил я ее наконец. – Два года. – Что ж, разве тебе барин позволил? – Меня откупили. – Кто? – Савелий Алексеевич. – Кто такой? – Муж мой. (Ермолай улыбнулся про себя.) А разве вам барин говорил обо мне? – прибавила Арина после небольшого молчанья. Я не знал, что отвечать на ее вопрос. «Арина!» – закричал издали мельник. Она встала и ушла. – Хороший человек ее муж? – спросил я Ермолая. – Ништо. – А дети у них есть? – Был один, да помер. – Что ж, она понравилась мельнику, что ли?.. Много ли он за нее дал выкупу? – А не знаю. Она грамоте разумеет; в их деле оно… того… хорошо бывает. Стало быть, понравилась. – А ты с ней давно знаком? – Давно. Я к ее господам прежде хаживал. Их усадьба отселева недалече. – И

Петрушку лакея знаешь? – Петра Васильевича? Как же, знал. – Где он теперь? – А в солдаты поступил. Мы помолчали. – Что она, кажется, нездорова? – спросил я, наконец, Ермолая. – Какое здоровье!.. А завтра, чай, тяга хороша будет. Вам теперь соснуть не худо. Стадо диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно спустилось на реку недалеко от нас. Уже совсем стемнело и начинало холодать; в роще звучно щелкал соловей. Мы зарылись в сено и заснули.

Малиновая вода

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до трех часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться и самая преданная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть вдет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени хоть на мгновение; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет из расселины берега, превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу; другой, худенький и маленький, в мухояровом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я вгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека. В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменною церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для

управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими, более или менее полезными, зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и всё у них шло своим порядком, как вдруг, в одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загроможденный грудами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и семью детьми. Митрофану приказали поставлять на господский стол, за полтораста верст, зелень и овощи; Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную «господскую» птицу; детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не помешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два переночевать; мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой желтой кожей. У него-то увидал я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей да старого глухого ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в каморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности. Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи; всякому дворовому выдается если не жалованье, то по крайней мере так называемое «отвесное»: Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было; о нем не говорили; он и по ревизии едва ли числился. Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах; но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл мухояровый, с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет, – об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится

родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти. Даже, бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жалованья и угощения хлебом-солью, гречишными пирогами и зеленым вином, по старинному русскому обычаю, – даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье, – стакана, наполненного жирною рукою приказчика; разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога. В светлое воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клети, позади курятника, а зимой в предбаннике; в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, «притулился», у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему: живи у меня – да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника: он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шуму; чихал и кашлял в руку, не без страха; вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей – и всё для еды, для одной еды. И точно, не заботься он с утра до вечера о своем пропитании, – умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь! То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный кочан капусты под себя крошит; то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит; то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает; то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устроивает. И всё это он делает молча, словно из-за угла: глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не замечает… Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные, как у летучей мыши, борода словно две недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика. Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушки я узнал тоже знакомого: это был вольноотпущенный человек графа

Петра Ильича ***, Михайло Савельев, по прозвищу Туман. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоялого двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по большой орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди (купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того) до сих пор еще могут заметить в недальнем расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную, солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу, при оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей; и, вероятно, не одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомянет минувшие времена и минувшую молодость. Долго пировал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь, в толпе подобострастных гостей; но именья его, к несчастию, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе места и умер в нумере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал. – Ну, что, Михайло Савельич, – начал я, – наловил рыбы? – А вот извольте в плетушку заглянуть: двух окуньков залучил да головликов штук пять… Покажь, Степа. Степушка протянул ко мне плетушку. – Как ты поживаешь, Степан? – спросил я его. – И… и… и… ни… ничего-о, батюшка, помаленьку, – отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал. – А Митрофан здоров? – Здоров, ка… как же, батюшка. Бедняк отвернулся. – Да плохо что-то клюет, – заговорил Туман, – жарко больно; рыба-то вся под кусты забилась, спит… Надень-ко червяка, Степа. (Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем раза два, надел на крючок, поплевал и подал Туману.) Спасибо, Степа… А вы, батюшка, – продолжал он, обращаясь ко мне, – охотиться изволите? – Как видишь. – Так-с… А что это у вас песик аглицкий али фурлянский какой? Старик любил при случае показать себя: дескать, и мы живали в свете! – Не знаю, какой он породы, а хорош. – Так-с… А с собаками

изволите ездить? – Своры две у меня есть. Туман улыбнулся и покачал головой. – Оно точно: иной до собак охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму: собак больше для важности, так сказать, держать следует… И чтобы всё уж и было в порядке: и лошади чтоб были в порядке, и псари как следует, в порядке, и всё. Покойный граф – царство ему небесное! – охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят; их сиятельство выйти изволят, и коня их сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремена вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельство арапельником этак изволят щелкнуть, а псари загогочут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете… И сидит-то он, стремянный-то, высоко, высоко, на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит… Ну, и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почет соблюден… Ах, сорвался, азиятец! – прибавил он вдруг, дернув удочкой. – А что, говорят, граф-таки пожил на своем веку? – спросил я. Старик поплевал на червяка и закинул удочку. – Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовет, бывало, меня: «Туман, говорит, мне к завтрешнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?» – «Слушаю, ваше сиятельство». Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, – господи, владыко живота моего! фейвирки пойдут, катанья! Даже из пушек палят. Музыкантов одних сорок человек налицо состояло. Кампельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец; с господами за одним столом кушать захотел; так и велели их сиятельство прогнать его с богом: у меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно: господская власть. Плясать пустятся – до зари пляшут, и всё больше лакосез-матрадура… Э… э… э… попался, брат! (Старик вытащил из воды небольшого окуня.) На-ко, Степа. – Барин был, как следует, барин, – продолжал старик, закинув опять удочку, – и душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя, – смотришь, уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески, прости господи! Оне-то его и разорили. И ведь всё больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, подавай им что ни на

есть самого дорогого в целой Европии! И то сказать: почему не пожить в свое удовольствие, – дело господское… да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулиной ее называли; теперь она покойница, – царство ей небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил… и не одному ему забрила лоб. Да… А всё-таки хорошее было времечко! – прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк. – А барин-то, я вижу, у вас был строг? – начал я после небольшого молчания. – Тогда это было во вкусе, батюшка, – возразил старик, качнув головой. – Теперь уж этого не делается, – заметил я, не спуская с него глаз. Он посмотрел на меня сбоку. – Теперь, вестимо, лучше, – пробормотал он – и далеко закинул удочку. Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжелый, знойный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос пошевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы нехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крылами и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас, в овраге, раздался шум: кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидал мужика лет пятидесяти, запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностию напился и приподнялся. – Э, Влас? – вскрикнул Туман, вглядевшись в него. – Здорово, брат. Откуда бог принес? – Здорово, Михайла Савельич, – проговорил мужик, подходя к нам, – издалеча. – Где пропадал? – спросил его Туман. – А в Москву сходил, к барину. – Зачем? – Просить его ходил. – О чем просить? – Да чтоб оброку сбавил аль на барщину посадил, переселил, что ли… Сын у меня умер, – так мне одному теперь не справиться. – Умер твой сын? – Умер. Покойник, – прибавил мужик, помолчав, – у меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаться, и оброк взносил. – Да разве вы теперь на оброке? – На оброке. – Что ж твой барин? – Что барин? Прогнал меня. Говорит, как смеешь прямо ко мне идти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва приказчику обязан донести… да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчал вовсе. – Ну,

что ж, ты и пошел назад? – И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: «Я, мол, Филиппов отец»; а он мне говорит: «А я почем знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил; еще у меня в долгу». Ну, я и пошел. Мужик рассказывал нам всё это с усмешкой, словно о другом речь шла; но на маленькие и съеженные его глазки навертывалась слезинка, губы его подергивало. – Что ж ты, теперь домой идешь? – А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит. – Да ты бы… того… – заговорил внезапно Степушка, смешался, замолчал и принялся копаться в горшке. – А к приказчику пойдешь? – продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу. – Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертию с год хворал, так и за себя оброку не взнес… Да мне с полугоря: взять-то с меня нечего… Уж, брат, как ты там ни хитри, – шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кинтильян-то Семеныч, а уж… Влас опять засмеялся. – Что ж? Это плохо, брат Влас, – с расстановкой произнес Туман. – А чем плохо? Не… (У Власа голос прервался.) Эка жара стоит, – продолжал он, утирая лицо рукавом. – Кто ваш барин? – спросил я. – Граф ***, Валериан Петрович. – Сын Петра Ильича? – Петра Ильича сын, – отвечал Туман. – Петр Ильич, покойник, Власову-то деревню ему при жизни уделил. – Что, он здоров? – Здоров, слава богу, – возразил Влас. – Красный такой стал, лицо словно обложилось. – Вот, батюшка, – продолжал Туман, обращаясь ко мне, – добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил. – А почем с тягла? – Девяносто пять рублев с тягла, – пробормотал Влас. – Ну вот, видите; а земли самая малость, только и есть что господский лес. – Да и тот, говорят, продали, – заметил мужик. – Ну, вот видите… Степа, дай-ка червяка… А, Степа? Что ты, заснул, что ли? Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую… Пригорюнился мой бедный Влас… Через полчаса мы разошлись.

У Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице; я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное потогонное, велел приставить горчичник, весьма ловко запустил к себе под обшлаг пятирублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отправиться восвояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил; я предвидел

бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Малый он был неглупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете: с иным человеком и долго живешь вместе и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души; с другим же едва познакомиться успеешь – глядь, либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди, всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля, – только он, ни с того ни с сего, как говорится, «взял» да и рассказал мне довольно замечательный случай; а я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выражаться словами лекаря. – Вы не изволите знать, – начал он расслабленным и дрожащим голосом (таково действие беспримесного березовского табаку), – вы не изволите знать здешнего судью, Мылова, Павла Лукича?.. Не знаете… Ну, всё равно. (Он откашлялся и протер глаза.) Вот, изволите видеть, дело было этак, как бы вам сказать – не солгать, в великий пост, в самую ростепель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек и в преферанс играть охотник. Вдруг (мой лекарь часто употреблял слово: вдруг) говорят мне: человек ваш вас спрашивает. Я говорю: что ему надобно? Говорят, записку принес, – должно быть, от больного. Подай, говорю, записку. Так и есть: от больного… Ну, хорошо, – это, понимаете, наш хлеб… Да вот в чем дело: пишет ко мне помещица, вдова; говорит, дескать, дочь умирает, приезжайте, ради самого господа бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это еще всё ничего… Да живет-то она в двадцати верстах от города, а ночь на дворе, и дороги такие, что фа! Да и сама беднеющая, больше двух целковых ожидать тоже нельзя, и то еще сумнительно, а разве холстом придется попользоваться да крупицами какими-нибудь. Однако долг, вы понимаете, прежде всего: человек умирает. Передаю вдруг карты непременному члену Каллиопину и отправляюсь домой. Гляжу: стоит тележчонка перед крыльцом; лошади крестьянские – пузатые-препузатые, шерсть на них – войлоко настоящее, и кучер, ради уваженья, без шапки сидит. Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят… Вы изволите смеяться, а я вам скажу: наш брат, бедный человек, всё в соображенье принимай… Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит – смело бей на две депозитки! А тут, вижу, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего: долг прежде всего. Захватываю самонужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская: ручьи,

снег, грязь, водомоины, а там вдруг плотину прорвало – беда! Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет: знать, ждут. Вхожу. Навстречу мне старушка, почтенная такая, в чепце. «Спасите, говорит, умирает». Я говорю: «Не извольте беспокоиться… Где больная?» – «Вот сюда пожалуйте». Смотрю: комнатка чистенькая, в углу лампада, на постеле девица лет двадцати, в беспамятстве. Жаром от нее так и пышет, дышит тяжело – горячка. Тут же другие две девицы, сестры, – перепуганы, в слезах. «Вот, говорят, вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом; поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении…» Я опять-таки говорю: «Не извольте беспокоиться», – докторская, знаете, обязанность, – и приступил. Кровь ей пустил, горчичники поставить велел, микстурку прописал. Между тем я гляжу на нее, гляжу, знаете, – ну, ей-богу, не видал еще такого лица… красавица, одним словом! Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза… Вот, слава богу, успокоилась; пот выступил, словно опомнилась; кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела… Сестры к ней нагнулись, спрашивают: «Что с тобою?» – «Ничего», – говорит, да и отворотилась… Гляжу – заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон; горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и ямайский тут же стоит: в нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать… Я согласился: куда теперь ехать! Старушка всё охает. «Чего вы? – говорю. – Будет жива, не извольте беспокоиться, а лучше отдохните-ка сами: второй час». – «Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?» – «Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы также пошли к себе в комнату; мне постель в гостиной постлали. Вот я лег, – только не могу заснуть, – что за чудеса! Уж на что, кажется, намучился. Всё моя больная у меня с ума нейдет. Наконец не вытерпел, вдруг встал; думаю, пойду посмотрю, что делает пациент? А спальня-то ее с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьется. Гляжу: горничная спит, рот раскрыла и храпит даже, бестия! а больная лицом ко мне лежит и руки разметала, бедняжка! Я подошел… Как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня!.. «Кто это? кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, говорю, сударыня: я доктор, пришел посмотреть, как вы себя чувствуете». – «Вы доктор?» – «Доктор, доктор… Матушка ваша за мною в город посылали; мы вам кровь пустили, сударыня; теперь извольте почивать, а дня этак через два мы вас, даст бог, на ноги поставим». – «Ах, да, да, доктор, не дайте мне умереть… пожалуйста, пожалуйста». – «Что вы это, бог с вами!» А

у ней опять жар, думаю я про себя; пощупал пульс: точно, жар. Она посмотрела на меня – да как возьмет меня вдруг за руку. «Я вам скажу, почему мне не хочется умереть, я вам скажу, я вам скажу… теперь мы одни; только вы, пожалуйста, никому… послушайте…» Я нагнулся; придвинула она губы к самому моему уху, волосами щеку мою трогает, – признаюсь, у меня самого кругом пошла голова, – и начала шептать… Ничего не понимаю… Ах, да это она бредит… Шептала, шептала, да так проворно и словно не по-русски, кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозилась. «Смотрите же, доктор, никому…» Кое-как я ее успокоил, дал ей напиться, разбудил горничную и вышел. Тут лекарь опять с ожесточеньем понюхал табаку и на мгновение оцепенел. – Однако, – продолжал он, – на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчило. Я подумал, подумал и вдруг решился остаться, хотя меня другие пациенты ожидали… А вы знаете, этим неглижировать нельзя: практика от этого страдает. Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии; а во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. Притом же и всё семейство мне нравилось. Люди они были хоть и неимущие, но образованные, можно сказать, на редкость… Отец-то у них был человек ученый, сочинитель; умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное; книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно около больной, по другим ли каким-либо причинам, только меня, смею сказать, полюбили в доме, как родного… Между тем распутица сделалась страшная: все сообщения, так сказать, прекратились совершенно; даже лекарство с трудом из города доставлялось… Больная не поправлялась… День за день, день за день… Но вот-с… тут-с… (Лекарь помолчал.) Право, не знаю, как бы вам изложить-с… (Он снова понюхал табаку, крякнул и хлебнул глоток чаю.) Скажу вам без обиняков, больная моя… как бы это того… ну, полюбила, что ли, меня… или нет, не то чтобы полюбила… а, впрочем… право, как это, того-с… (Лекарь потупился и покраснел.) – Нет, – продолжал он с живостью, – какое полюбила! Надо себе, наконец, цену знать. Девица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры (лекарь с улыбкой взглянул на себя) также, кажется, нечем хвастаться. Но дураком господь бог тоже меня не уродил: я белое черным не назову; я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял, что Александра Андреевна – ее Александрой Андреевной звали – не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли. Хотя она сама, может быть, в

этом отношении ошибалась, да ведь положение ее было какое, вы сами рассудите… Впрочем, – прибавил лекарь, который все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа и с явным замешательством, – я, кажется, немного зарапортовался… Этак вы ничего не поймете… а вот, позвольте, я вам всё по порядку расскажу. Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным. – Так, так-то-с. Моей больной всё хуже становилось, хуже, хуже. Вы не медик, милостивый государь; вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата, особенно на первых порах, когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоуверенность! Оробеешь вдруг так, что и сказать нельзя. Так тебе и кажется, что и позабыл-то ты всё, что знал, и что больной-то тебе больше не доверяет, и что другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают, исподлобья глядят, шепчутся… э, скверно! Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни, стоит только найти. Вот не оно ли? Попробуешь – нет, не оно! Не даешь времени лекарству как следует подействовать… то за то хватишься, то за то. Возьмешь, бывало, рецептурную книгу… ведь тут оно, думаешь, тут! Право слово, иногда наобум раскроешь: авось, думаешь, судьба… А человек меж тем умирает; а другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен; я на себя ответственности не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь! Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек – не твоя вина: ты по правилам поступал. А то вот что еще мучительно бывает: видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие всё семейство Александры Андреевны ко мне возымело: и думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже, с своей стороны, уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит. К довершению несчастия, такая подошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит. А я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу, разные, знаете, смешные анекдотцы рассказываю, в карты с ней играю. Ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодарит; а я про себя думаю: «Не стою я твоей благодарности». Признаюсь вам откровенно – теперь не для чего скрываться – влюбился я в мою больную. И Александра Андреевна ко мне привязалась: никого, бывало, к себе в комнату, кроме меня, не пускает. Начнет со мной разговаривать, – расспрашивает меня, где я учился, как живу, кто мои родные, к кому я езжу? И чувствую я, что не след ей разговаривать; а запретить ей, решительно этак, знаете, запретить – не могу. Схвачу, бывало, себя за голову: «Что ты делаешь, разбойник?..» А то возьмет меня за руку и держит,

глядит на меня, долго, долго глядит, отвернется, вздохнет и скажет: «Какой вы добрый!» Руки у ней такие горячие, глаза большие, томные. «Да, говорит, вы добрый, вы хороший человек, вы не то, что наши соседи… нет, вы не такой, вы не такой… Как это я до сих пор вас не знала!» – «Александра Андреевна, успокойтесь, говорю… я, поверьте, чувствую, я не знаю, чем заслужил… только вы успокойтесь, ради бога, успокойтесь… всё хорошо будет, вы будете здоровы». А между тем, должен я вам сказать, – прибавил лекарь, нагнувшись вперед и подняв кверху брови, – что с соседями они мало водились оттого, что мелкие им не под стать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться. Я вам говорю: чрезвычайно образованное было семейство, – так мне, знаете, и лестно было. Из одних моих рук лекарство принимала… приподнимется, бедняжка, с моею помощью, примет и взглянет на меня… сердце у меня так и покатится. А между тем ей всё хуже становилось, всё хуже: умрет, думаю, непременно умрет. Поверите ли, хоть самому в гроб ложиться; а тут мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят… и доверие проходит. «Что? Как?» – «Ничего-с, ничего-с!» А какое ничего-с, ум мешается. Вот-с, сижу я однажды ночью, один опять, возле больной. Девка тут тоже сидит и храпит во всю ивановскую… Ну, с несчастной девки взыскать нельзя: затормошилась и она. Александра-то Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала; жар ее замучил. До самой полуночи всё металась; наконец словно заснула; по крайней мере не шевелится, лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдруг, словно меня кто под бок толкнул, обернулся я… Господи, боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит… губы раскрыты, щеки так и горят. «Что с вами?» – «Доктор, ведь я умру?» – «Помилуй бог!» – «Нет, доктор, нет, пожалуйста, не говорите мне, что я буду жива… не говорите… если б вы знали… послушайте, ради бога не скрывайте от меня моего положения! – А сама так скоро дышит. – Если я буду знать наверное, что я умереть должна… я вам тогда всё скажу, всё!» – «Александра Андреевна, помилуйте!» – «Послушайте, ведь я не спала нисколько, я давно на вас гляжу… ради бога… я вам верю, вы человек добрый, вы честный человек, заклинаю вас всем, что есть святого на свете, – скажите мне правду! Если б вы знали, как это для меня важно… Доктор, ради бога скажите, я в опасности?» – «Что я вам скажу, Александра Андреевна, – помилуйте!» – «Ради бога, умоляю вас!» – «Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна, – вы точно в опасности, но бог милостив…» – «Я умру, я умру…» И она словно обрадовалась, лицо такое веселое стало; я испугался. «Да не бойтесь, не бойтесь,

меня смерть нисколько не стращает». Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. «Теперь… ну, теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю…» Я гляжу на нее, как шальной; жутко мне, знаете… «Слышите ли, я люблю вас…» – «Александра Андреевна, чем же я заслужил!» – «Нет, нет, вы меня не понимаете… ты меня не понимаешь…» И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала… Поверите ли, я чуть-чуть не закричал… бросился на колени и голову в подушки спрятал. Она молчит; пальцы ее у меня на волосах дрожат; слышу: плачет. Я начал ее утешать, уверять… я уж, право, не знаю, что я такое ей говорил. «Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна… благодарю вас… верьте… успокойтесь». – «Да полно же, полно, – твердила она. – Бог с ними со всеми; ну, проснутся, ну, придут – всё равно: ведь умру же я… Да и ты чего робеешь, чего боишься? Подними голову… Или вы, может быть, меня не любите, может быть, я обманулась… в таком случае извините меня». – «Александра Андреевна, что вы говорите?.. я люблю вас, Александра Андреевна». Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. «Так обними же меня…» Скажу вам откровенно: я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная моя себя губит; вижу, что не совсем она в памяти; понимаю также и то, что не почитай она себя при смерти, – не подумала бы она обо мне; а то ведь, как хотите, жутко умирать в двадцать пять лет, никого не любивши: ведь вот что ее мучило, вот отчего она, с отчаянья, хоть за меня ухватилась, – понимаете теперь? Ну не выпускает она меня из своих рук. «Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю». – «К чему, говорит, чего жалеть? Ведь должна же я умереть…» Это она беспрестанно повторяла. «Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно… а то что?» – «Да кто вам сказал, что вы умрете?» – «Э, нет, полно, ты меня не обманешь, ты лгать не умеешь, посмотри на себя». – «Вы будете живы, Александра Андреевна, я вас вылечу; мы испросим у вашей матушки благословение… мы соединимся узами, мы будем счастливы». – «Нет, нет, я с вас слово взяла, я должна умереть… ты мне обещал… ты мне сказал…» Горько было мне, по многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы: кажется, ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, как мое имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Да-с, да-с; Трифоном, Трифоном Иванычем. В доме-то меня все доктором звали. Я, делать нечего, говорю: «Трифон, сударыня». Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски, – ох, да

недоброе что-то, – и засмеялась потом, нехорошо тоже. Вот этак-то я почти всю ночь провел с ней. Поутру вышел, словно угорелый; вошел к ней опять в комнату уже днем, после чаю. Боже мой, боже мой! Узнать ее нельзя: краше в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. Три дня, три ночи еще проскрипела моя больная… и какие ночи! Что она мне говорила!.. А в последнюю-то ночь, вообразите вы себе, – сижу я подле нее и уж об одном бога прошу: прибери, дескать, ее поскорей, да и меня тут же… Вдруг старушка мать – шасть в комнату… Уж я ей накануне сказал, матери-то, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела мать, и говорит: «Ну вот, хорошо, что пришла… посмотри-ка на нас, мы друг друга любим, мы друг другу слово дали». – «Что это она, доктор, что она?» Я помертвел. «Бредит-с, говорю, жар…» А она-то: «Полно, полно, ты мне сейчас совсем другое говорил, и кольцо от меня принял… что притворяешься? Мать моя добрая, она простит, она поймет, а я умираю – мне не к чему лгать; дай мне руку…» Я вскочил и вон выбежал. Старушка, разумеется, догадалась. – Не стану я вас, однако, долее томить, да и мне самому, признаться, тяжело всё это припоминать. Моя больная на другой же день скончалась. Царство ей небесное (прибавил лекарь скороговоркой и со вздохом)! Перед смертью попросила она своих выйти и меня наедине с ней оставить. «Простите меня, говорит, я, может быть, виновата перед вами… болезнь… но, поверьте, я никого не любила более вас… не забывайте же меня… берегите мое кольцо…» Лекарь отвернулся; я взял его за руку. – Эх! – сказал он, – давайте-ка о чем-нибудь другом говорить, или не хотите ли в преферансик по маленькой? Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованиям предаваться. Наш брат думай об одном: как бы дети не пищали да жена не бранилась. Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел… Как же… Купеческую дочь взял: семь тысяч приданого. Зовут ее Акулиной; Трифону-то под стать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день… А что ж преферанс? Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иваныч выиграл у меня два рубля с полтиной – и ушел поздно, весьма довольный своей победой.

Мой сосед Радилов

…Осенью вальдшнепы часто держатся в старинных липовых садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно много. Прадеды наши, при выборе места для жительства, непременно отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через пятьдесят, много семьдесят, эти усадьбы, «дворянские гнезда», понемногу исчезали с лица земли, дома сгнивали или продавались на своз, каменные службы превращались в груды развалин, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Одни липы по-прежнему росли себе на славу и теперь, окруженные распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о «прежде почивших отцах и братиях». Прекрасное дерево – такая старая липа… Ее щадит даже безжалостный топор русского мужика. Лист на ней мелкий, могучие сучья широко раскинулись во все стороны, вечная тень под ними. Однажды, скитаясь с Ермолаем по полям за куропатками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился туда. Только что я вошел в опушку, вальдшнеп со стуком поднялся из куста, – я выстрелил, и в то же мгновенье, в нескольких шагах от меня, раздался крик: испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-за деревьев и тотчас скрылось. Ермолай подбежал ко мне. «Что вы здесь стреляете: здесь живет помещик». Не успел я ему ответить, не успела собака моя с благородной важностью донести до меня убитую птицу, как послышались проворные шаги, и человек высокого росту, с усами, вышел из чащи и с недовольным видом остановился передо мной. Я извинился, как мог, назвал себя и предложил ему птицу, застреленную в его владениях. – Извольте, – сказал он мне с улыбкой, – я приму вашу дичь, но только с условием: вы у нас останетесь обедать. Признаться, я не очень обрадовался его предложению, но отказаться было невозможно. – Я здешний помещик и ваш сосед, Радилов, может сдыхали, – продолжал мой новый знакомый. – Сегодня воскресенье, и обед у меня, должно быть, будет порядочный, а то бы я вас не пригласил. Я отвечал, что отвечают в таких случаях, и отправился вслед за ним. Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи; мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрели круглые бледно-зеленые кочаны капусты; хмель винтами обвивал высокие тычинки; тесно торчали на грядах бурые прутья, перепутанные засохшим горохом; большие плоские тыквы словно валялись на земле; огурцы желтели из-под запыленных угловатых листьев;

вдоль плетня качалась высокая крапива; в двух или трех местах кучами росли: татарская жимолость, бузина, шиповник – остатки прежних «клумб». Возле небольшой са́жалки, наполненной красноватой и слизистой водой, виднелся колодезь, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковыляли в этих лужицах; собака, дрожа всем телом и жмурясь, грызла кость на поляне; пегая корова тут же лениво щипала траву, изредка закидывая хвост на худую спину. Дорожка повернула в сторону; из-за толстых ракит и берез глянул на нас старенький, серый домик с тесовой крышей и кривым крылечком. Радилов остановился. – Впрочем, – сказал он, добродушно и прямо посмотрев мне в лицо, – я теперь раздумал; может быть, вам вовсе не хочется заходить ко мне: в таком случае… Я не дал ему договорить и уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать. – Ну, как знаете. Мы вошли в дом. Молодой малый, в длинном кафтане из синего толстого сукна, встретил нас на крыльце. Радилов тотчас приказал ему поднести водки Ермолаю; мой охотник почтительно поклонился спине великодушного дателя. Из передней, заклеенной разными пестрыми картинами, завешенной клетками, вошли мы в небольшую комнатку – кабинет Радилова. Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол; малый в длиннополом сюртуке хлопотливо обчистил меня. – Ну, теперь пойдемте в гостиную, – ласково проговорил Радилов, – я вас познакомлю с моей матушкой. Я пошел за ним. В гостиной, на середнем диване, сидела старушка небольшого росту, в коричневом платье и белом чепце, с добреньким и худеньким лицом, робким и печальным взглядом. – Вот, матушка, рекомендую: сосед наш ***. Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого гарусного ридикюля в виде мешка. – Давно вы пожаловали в нашу сторону? – спросила она слабым и тихим голосом, помаргивая глазами. – Нет-с, недавно. – Долго намерены здесь остаться? – Думаю, до зимы. Старушка замолчала. – А вот это, – подхватил Радилов, указывая мне на человека высокого и худого, которого я при входе в гостиную не заметил, – это Федор Михеич… Ну-ка, Федя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился в угол-то? Федор Михеич тотчас поднялся со стула, достал с окна дрянненькую скрыпку, взял смычок – не за конец, как следует, а за середину, прислонил скрыпку к груди, закрыл глаза и пустился в пляс, напевая песенку и пиликая по струнам. Ему на вид было лет семьдесят; длинный нанковый сюртук печально болтался на сухих и костлявых его членах. Он плясал; то с удальством потряхивал, то, словно замирая, поводил маленькой лысой головкой, вытягивал жилистую шею, топотал

ногами на месте, иногда, с заметным трудом, сгибал колени. Его беззубый рот издавал дряхлый голос. Радилов, должно быть, догадался по выражению моего лица, что мне «искусство» Феди не доставляло большого удовольствия. – Ну, хорошо, старина, полно, – проговорил он, – можешь пойти наградить себя. Федор Михеич тотчас положил скрыпку на окно, поклонился сперва мне, как гостю, потом старушке, потом Радилову и вышел вон. – Тоже был помещик, – продолжал мой новый приятель, – и богатый, да разорился – и вот прожинает теперь у меня… А в свое время считался первым по губернии хватом; двух жен от мужей увез, песельников держал, сам певал и плясал мастерски… Но не прикажете ли водки? Ведь уж обед на столе. Молодая девушка, та самая, которую я мельком видел в саду, вошла в комнату. – А вот и Оля! – заметил Радилов, слегка отвернув голову, – прошу любить и жаловать… Ну, пойдемте обедать. Мы отправились в столовую, сели. Пока мы шли из гостиной и садились, Федор Михеич, у которого от «награды» глазки засияли и нос слегка покраснел, пел: «Гром победы раздавайся!» Ему поставили особый прибор в углу на маленьком столике без салфетки. Бедный старик не мог похвалиться опрятностью, и потому его постоянно держали в некотором отдалении от общества. Он перекрестился, вздохнул и начал есть, как акула. Обед был действительно недурен и, в качестве воскресного, не обошелся без трепещущего желе и испанских ветров (пирожного). За столом Радилов, который лет десять служил в армейском пехотном полку и в Турцию ходил, пустился в рассказы; я слушал его со вниманием и украдкой наблюдал за Ольгой. Она не очень была хороша собой; но решительное и спокойное выражение ее лица, ее широкий белый лоб, густые волосы и, в особенности, карие глаза, небольшие, но умные, ясные и живые, поразили бы и всякого другого на моем месте. Она как будто следила за каждым словом Радилова; не участие, – страстное внимание изображалось на ее лице. Радилов, по летам, мог бы быть ее отцом; он говорил ей «ты», но я тотчас догадался, что она не была его дочерью. В течение разговора он упомянул о своей покойной жене – «ее сестра», – прибавил он, указав на Ольгу. Она быстро покраснела и опустила глаза. Радилов помолчал и переменил разговор. Старушка во весь обед не произнесла слова, сама почти ничего не ела и меня не потчевала. Ее черты дышали каким-то боязливым и безнадежным ожиданьем, той старческой грустью, от которой так мучительно сжимается сердце зрителя. К концу обеда Федор Михеич начал было «славить» хозяев и гостя, но Радилов взглянул на меня и попросил его замолчать; старик провел рукой по губам, заморгал глазами, поклонился и присел опять, но уже на самый

край стула. После обеда мы с Радиловым отправились в его кабинет. В людях, которых сильно и постоянно занимает одна мысль или одна страсть, заметно что-то общее, какое-то внешнее сходство в обращенье, как бы ни были, впрочем, различны их качества, способности, положение в свете и воспитание. Чем более я наблюдал за Радиловым, тем более мне казалось, что он принадлежал к числу таких людей. Он говорил о хозяйстве, об урожае, покосе, о войне, уездных сплетнях и близких выборах, говорил без принужденья, даже с участьем, но вдруг вздыхал и опускался в кресла, как человек, утомленный тяжкой работой, проводил рукой по лицу. Вся душа его, добрая и теплая, казалось, была проникнута насквозь, пресыщена одним чувством. Меня поражало уже то, что я не мог в нем открыть страсти ни к еде, ни к вину, ни к охоте, ни к курским соловьям, ни к голубям, страдающим падучей болезнью, ни к русской литературе, ни к иноходцам, ни к венгеркам, ни к карточной и биллиардной игре, ни к танцевальным вечерам, ни к поездкам в губернские и столичные города, ни к бумажным фабрикам и свеклосахарным заводам, ни к раскрашенным беседкам, ни к чаю, ни к доведенным до разврата пристяжным, ни даже к толстым кучерам, подпоясанным под самыми мышками, к тем великолепным кучерам, у которых, бог знает почему, от каждого движения шеи глаза косятся и лезут вон… «Что ж это за помещик, наконец!» – думал я. А между тем он вовсе не прикидывался человеком мрачным и своею судьбою недовольным; напротив, от него так и веяло неразборчивым благоволеньем, радушьем и почти обидной готовностью сближенья с каждым встречным и поперечным. Правда, вы в то же самое время чувствовали, что подружиться, действительно сблизиться он ни с кем не мог, и не мог не оттого, что вообще не нуждался в других людях, а оттого, что вся жизнь его ушла на время внутрь. Вглядываясь в Радилова, я никак не мог себе представить его счастливым ни теперь, ни когда-нибудь. Красавцем он тоже не был; но в его взоре, в улыбке, во всем его существе таилось что-то чрезвычайно привлекательное, – именно таилось. Так, кажется, и хотелось бы узнать его получше, полюбить его. Конечно, в нем иногда высказывался помещик и степняк; но человек он все-таки был славный. Мы начали было толковать с ним о новом уездном предводителе, как вдруг у двери раздался голос Ольги: «Чай готов». Мы пошли в гостиную. Федор Михеич по-прежнему сидел в своем уголку, между окошком и дверью, скромно подобрав ноги. Мать Радилова вязала чулок. Сквозь открытые окна из саду веяло осенней свежестью и запахом яблоков. Ольга хлопотливо разливала чай. Я с большим вниманием смотрел на нее теперь,

чем за обедом. Она говорила очень мало, как вообще все уездные девицы, но в ней, по крайней мере, я не замечал желанья сказать что-нибудь хорошее, вместе с мучительным чувством пустоты и бессилия; она не вздыхала, словно от избытка неизъяснимых ощущений, не закатывала глаза под лоб, не улыбалась мечтательно и неопределенно. Она глядела спокойно и равнодушно, как человек, который отдыхает от большого счастья или от большой тревоги. Ее походка, ее движенья были решительны и свободны. Она мне очень нравилась. Мы с Радиловым опять разговорились. Я уже не помню, каким путем мы дошли до известного замечанья: как часто самые ничтожные вещи производят большее впечатление на людей, чем самые важные. – Да, – промолвил Радилов, – это я испытал на себе. Я, вы знаете, был женат. Не долго… три года; моя жена умерла от родов. Я думал, что не переживу ее; я был огорчен страшно, убит, но плакать не мог – ходил словно шальной. Ее, как следует, одели, положили на стол – вот в этой комнате. Пришел священник; дьячки пришли, стали петь, молиться, курить ладаном; я клал земные поклоны и хоть бы слезинку выронил. Сердце у меня словно окаменело и голова тоже – и весь я отяжелел. Так прошел первый день. Верите ли? ночью я заснул даже. На другое утро вошел я к жене, – дело было летом, солнце освещало ее с ног до головы, да так ярко. – Вдруг я увидел… (Здесь Радилов невольно вздрогнул.) Что вы думаете? Глаз у нее не совсем был закрыт, и по этому глазу ходила муха… Я повалился, как сноп, и, как опомнился, стал плакать, плакать – унять себя не мог… Радилов замолчал. Я посмотрел на него, потом на Ольгу… Ввек мне не забыть выражения ее лица. Старушка положила чулок на колени, достала из ридикюля платок и украдкой утерла слезу. Федор Михеич вдруг поднялся, схватил свою скрыпку и хриплым и диким голосом затянул песенку. Он желал, вероятно, развеселить нас; но мы все вздрогнули от его первого звука, и Радилов попросил его успокоиться. – Впрочем, – продолжал он, – что было, то было; прошлого не воротишь, да и наконец… всё к лучшему в здешнем мире, как сказал, кажется, Во́лтер, – прибавил он поспешно. – Да, – возразил я, – конечно. Притом всякое несчастье можно перенести, и нет такого скверного положения, из которого нельзя было бы выйти. – Вы думаете? – заметил Радилов. – Что ж, может быть, вы правы. Я, помнится, в Турции лежал в госпитале, полумертвый: у меня была гнилая горячка. Ну, помещением мы похвалиться не могли, – разумеется, дело военное, – и то еще славу богу! Вдруг к нам еще приводят больных, – куда их положить? Лекарь туда, сюда, – нет места. Вот подошел он ко

мне, спрашивает фельдшера: «Жив?» Тот отвечает: «Утром был жив». Лекарь нагнулся, слышит: дышу. Не вытерпел приятель. «Ведь экая натура-то дура, говорит, ведь вот умрет человек, ведь непременно умрет, а всё скрипит, тянет, только место занимает да другим мешает». – «Ну, – подумал я про себя, – плохо тебе, Михайло Михайлыч…» А вот выздоровел и жив до сих пор, как изволите видеть. Стало быть, вы правы. – Во всяком случае я прав, – отвечал я. – Если б вы даже и умерли, вы всё-таки вышли бы из вашего скверного положения. – Разумеется, разумеется, – прибавил он, внезапно и сильно ударив рукою по столу… – Стоит только решиться… Что толку в скверном положении?.. К чему медлить, тянуть… Ольга быстро встала и вышла в сад. – Ну-ка, Федя, плясовую! – воскликнул Радилов. Федя вскочил, пошел по комнате той щеголеватой, особенной поступью, какою выступает известная «коза» около ручного медведя, и запел: «Как у наших у ворот…» У подъезда раздался стук беговых дрожек, и через несколько мгновений вошел в комнату старик высокого росту, плечистый и плотный, однодворец Овсяников… Но Овсяников такое замечательное и оригинальное лицо, что мы, с позволения читателя, поговорим о нем в другом отрывке. А теперь я от себя прибавлю только то, что на другой же день мы с Ермолаем чем свет отправились на охоту, а с охоты домой, что через неделю я опять зашел к Радилову, но не застал ни его, ни Ольги дома, а через две недели узнал, что он внезапно исчез, бросил мать, уехал куда-то с своей золовкой. Вся губерния взволновалась и заговорила об этом происшествии, и я только тогда окончательно понял выражение Ольгина лица во время рассказа Радилова. Не одним состраданием дышало оно тогда: оно пылало также ревностью. Перед моим отъездом из деревни я посетил старушку Радилову. Я нашел ее в гостиной; она играла с Федором Михеичем в дурачки. – Имеете вы известие от вашего сына? – спросил я ее наконец. Старушка заплакала. Я уже более не расспрашивал ее о Радилове.

Однодворец Овсяников

Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет семидесяти, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой: вот вам Овсяников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платок на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые, он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсяников своею важностью и неподвижностью, смышленостью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр допетровских времен… Ферязь бы к нему пристала. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья, однодворцы, только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика: хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого, телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсяников был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Жил он один с своей женой в уютном, опрятном домике, прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, «не забывался», не по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места, но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсяников придерживался старинных обычаев не из суеверия (душа в нем была довольно свободная), а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными, и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой, и сам правил своим добрым гнедым рысаком. (Он держал одних гнедых лошадей.) Кучер, молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсяников всегда спал после обеда, ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги (причем с важностью надевал на нос круглые серебряные очки), вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей он принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся

им в пояс, не суетился, не потчевал их всяким сушеньем и соленьем. «Жена! – говорил он медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову. – Принеси господам чего-нибудь полакомиться». Он почитал за грех продавать хлеб – божий дар, и в 40-м году, во время всеобщего голода и страшной дороговизны, роздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас; они ему на следующий год с благодарностью взнесли свой долг натурой. К Овсяникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета. Многие, по его милости, окончательно размежевались… Но после двух или трех сшибок с помещицами он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола. Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и «суеты». Раз как-то у него дом загорелся. Работник впопыхах вбежал к нему с криком: «Пожар! пожар!» – «Ну, чего же ты кричишь? – спокойно сказал Овсяников. – Подай мне шапку и костыль…» Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяный битюк помчал его под гору к оврагу. «Ну, полно, полно, жеребенок малолетний, – убьешься», – добродушно замечал ему Овсяников и через мгновенье полетел в овраг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью. К счастью, на дне оврага грудами лежал песок. Никто не ушибся, один битюк вывихнул себе ногу. «Ну вот, видишь, – продолжал спокойным голосом Овсяников, поднимаясь с земли, – я тебе говорил». И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсяникова была женщина высокого росту, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсяникова не было. Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Радилова и дня через два поехал к нему. Я застал его дома. Он сидел в больших кожаных креслах и читал четьи-минеи. Серая кошка мурлыкала у него на плече. Он меня принял, по своему обыкновенью, ласково и величаво. Мы пустились в разговор. – А скажите-ка, Лука Петрович, правду, – сказал я между прочим, – ведь прежде, в ваше-то время, лучше было? – Иное точно лучше было, скажу вам, – возразил Овсяников, – спокойнее мы жили; довольства больше было, точно… А всё-таки теперь лучше; а вашим деткам еще лучше будет, бог даст. – А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете. – Нет, старого времени мне особенно хвалить не из чего. Вот хоть бы, примером сказать, вы

помещик теперь, такой же помещик, как ваш покойный дедушка, а уж власти вам такой не будет! Да и вы сами не такой человек. Нас и теперь другие господа притесняют; но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелется – авось мука будет. Нет, уж я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся. – А чего бы, например? – А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек! Обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете, – да как вам своей земли не знать, – клин-то, что идет от Чаплыгина к Малинину?.. Он у вас под овсом теперь… Ну, ведь он наш, – весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял; выехал верхом, показал рукой, говорит: «Мое владенье» – и завладел. Отец-то мой, покойник (царство ему небесное!), человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел, – да и кому охота свое доброе терять? – и в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли – побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсяников, мол, на вас жалуется: землю, вишь, отнять изволили… Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего Бауша с командой… Вот и взяли моего отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ними побежал. Что ж?.. Привели его к вашему дому да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе да посматривает; а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только знай приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступиться от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своих мужиков: как, мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках. Я не знал, что отвечать Овсяникову, и не смел взглянуть ему в лицо. – А то другой сосед у нас в те поры завелся, Комов, Степан Никтополионыч. Замучил было отца совсем: не мытьем, так катаньем. Пьяный был человек и любил угощать, и как подопьет да скажет по-французски «се бон», да облизнется – хоть святых вон неси! По всем соседям шлет просить пожаловать. Тройки так у него наготове и стояли; а не поедешь – тотчас сам нагрянет… И такой странный был человек! В «тверёзом» виде не лгал; а как выпьет – и начнет рассказывать, что у него в Питере три дома на Фонтанке: один красный с одной трубой, другой – желтый с двумя трубами, а третий – синий без труб, – и три сына (а он и женат-то не бывал): один в инфантерии, другой в кавалерии, третий сам по себе… И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко второму – генералы,

а к младшему – всё англичане! Вот и поднимется и говорит: «За здравие моего старшего сына, он у меня самый почтительный!» – и заплачет. И беда, коли кто отказываться станет. «Застрелю! говорит, и хоронить не позволю!..» А то вскочит и закричит: «Пляши, народ божий, на свою потеху и мое утешение!» Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Девок своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь как есть, до утра хором поют, и какая выше голосом забирает, той и награда. А станут уставать – голову на руки положит и загорюет: «Ох, сирота я сиротливая! Покидают меня, голубчика!» Конюха тотчас девок и приободрят. Отец-то мой ему и полюбись: что прикажешь делать? Ведь чуть в гроб отца моего не вогнал, и точно вогнал бы, да сам, спасибо, умер: с голубятни в пьяном виде свалился… Так вот какие у нас соседушки бывали! – Как времена-то изменились! – заметил я. – Да, да, – подтвердил Овсяников. – Ну, и то сказать: в старые-то годы дворяне живали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож: я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь. – Вы были в Москве? – Был, давно, очень давно. Мне вот теперь семьдесят третий год пошел, а в Москву я ездил на шестнадцатом году. Овсяников вздохнул. – Кого ж вы там видали? – А многих вельмож видел, и всяк их видел; жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видал часто; дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот, на Шаболовке. Вот был вельможа! Такой осанки, такого привета милостивого вообразить невозможно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд! Пока не знаешь его, не войдешь к нему – боишься точно, робеешь; а войдешь – словно солнышко тебя пригреет, и весь повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал и до всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким гонялся; и никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет; и такой ласковый – противника утешит, коня его похвалит. Голубей-турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сидит в кресла и прикажет голубков поднять; а кругом, на крышах, люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставят с водой; он и смотрит в воду на голубков. Убогие, нищие сотнями на его хлебе живали… и сколько денег он передавал! А рассердится – словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что: смотришь – уж и улыбается. Пир задаст – Москву споит!.. И ведь умница был какой! Ведь турку-то он побил. Бороться тоже любил; силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет – наградит; а коли

кто его поборет – задарит вовсе и в губы поцелует… А то, в бытность мою в Москве, затеял садку такую, какой на Руси не бывало: всех как есть охотников со всего царства к себе в гости пригласил и день назначил, и три месяца сроку дал. Вот и собрались. Навезли собак, егерей – ну, войско наехало, как есть войско! Сперва попировали как следует, а там и отправились за заставу. Народу сбежалось тьма-тьмущая!.. И что вы думаете?.. Ведь вашего дедушки собака всех обскакала. – Не Миловидка ли? – спросил я. – Миловидка, Миловидка… Вот граф его и начал упрашивать: «Продай мне, дескать, твою собаку: возьми что хочешь». – «Нет, граф, говорит, я не купец: тряпицы ненужной не продам, а из чести хоть жену готов уступить, только не Миловидку… Скорее себя самого в полон отдам». И Алексей Григорьевич его похвалил: «Люблю», – говорит. Дедушка-то ваш ее назад в карете повез; а как умерла Миловидка, с музыкой в саду ее похоронил – псицу похоронил и камень с надписью над псицей поставил. – Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого, – заметил я. – Да оно всегда так бывает: кто сам мелко плавает, тот и задирает. – А что за человек был этот Бауш? – спросил я после некоторого молчания. – Как же это вы про Миловидку слыхали, а про Бауша нет?.. Это был главный ловчий и доезжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше Миловидки. Отчаянный был человек, и что бы ваш дед ни приказал – мигом исполнит, хоть на нож полезет… И как порскал – так стон в лесу, бывало, и стоит. А то вдруг заупрямится, слезет с коня и ляжет… И как только перестали собаки слышать его голос – кончено! Горячий след бросят, не погонят ни за какие блага. И-их, ваш дедушка рассердится! «Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника! Наизнанку антихриста выворочу! Пятки душегубцу сквозь горло протащу!» А кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, отчего не порскает? И Бауш в таких случаях обыкновенно потребует вина, выпьет, поднимется и загогочет опять на славу. – Вы, кажется, также любите охоту, Лука Петрович? – Любил бы… точно, – не теперь: теперь моя пора прошла – а в молодых годах… да знаете, неловко, по причине звания. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно: и из нашего сословия иной, пьющий и неспособный, бывало, присоседится к господам… да что за радость! Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую; то и дело шапку с него наземь бросают; арапником, будто по лошади, по нем задевают; а он всё смейся да других смеши. Нет, скажу вам: чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь. – Да, – продолжал Овсяников со вздохом, – много воды утекло с тех пор, как я на свете живу:

времена подошли другие. Особенно в дворянах вижу я перемену большую. Мелкопоместные – все либо на службе побывали, либо на месте не сидят; а что покрупней – тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них, на крупных-то, вот по случаю размежевания. И должен я вам сказать: сердце радуется, на них глядя: обходительны, вежливы. Только вот что мне удивительно: всем наукам они научились, говорят так складно, что душа умиляется, а дела-то настоящего не смыслят, даже собственной пользы не чувствуют: их же крепостной человек, приказчик, гнет их куда хочет, словно дугу. Ведь вот вы, может, знаете Королева, Александра Владимирыча, – чем не дворянин? Собой красавец, богат, в ниверситетах обучался, кажись, и за границей побывал, говорит плавно, скромно, всем нам руки жмет. Знаете?.. Ну, так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку, по приглашению посредника, Никифора Ильича. И говорит нам посредник, Никифор Ильич: «Надо, господа, размежеваться; это срам, наш участок ото всех других отстал: приступимте к делу». Вот и приступили. Пошли толки, споры, как водится; поверенный наш ломаться стал. Но первый забуянил Овчинников Порфирий… И из чего буянит человек?.. У самого вершка земли нету: по поручению брата распоряжается. Кричит: «Нет! меня вам не провести! нет, не на того наткнулись! Планы сюда! землемера мне подайте, христопродавца подайте сюда!» – «Да какое, наконец, ваше требование?» – «Вот дурака нашли! эка! Вы думаете: я вам так-таки сейчас мое требование и объявлю?.. Нет, вы планы сюда подайте, – вот что!» А сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитревну обидел кровно. Та кричит: «Как вы смеете мою репутацию позорить?» – «Я, говорит, вашей репутации моей бурой кобыле не желаю». Насилу мадерой отпоили. Его успокоили, – другие забунтовали. Королев-то, Александр Владимирыч, сидит, мой голубчик, в углу, набалдашник на палке покусывает да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол, об нас подумает человек? Глядь, поднялся мой Александр Владимирыч, показывает вид, что говорить желает. Посредник засуетился, говорит: «Господа, господа, Александр Владимирыч говорить желает». И нельзя не похвалить дворян: все тотчас замолчали. Вот и начал Александр Владимирыч, и говорит: что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собрались; что хотя размежевание, бесспорно, выгодно для владельцев, но в сущности оно введено для чего? – для того, чтоб крестьянину было легче, чтоб ему работать сподручнее было, повинности справлять; а то теперь он сам своей земли не знает и нередко за пять верст пахать едет, – и взыскать с него нельзя. Потом сказал Александр Владимирыч, что помещику грешно не

заботиться о благосостоянии крестьян, что крестьяне от бога поручены, что, наконец, если здраво рассудить, их выгоды и наши выгоды – всё едино: им хорошо – нам хорошо, им худо – нам худо… и что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков… И пошел, и пошел… Да ведь как говорил! за душу так и забирает… Дворяне-то все носы повесили; я сам, ей-ей, чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает… А чем кончилось? Сам четырех десятин мохового болота не уступил и продать не захотел. Говорит: «Я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу, с усовершенствованиями. Я, говорит, уж это место выбрал: у меня на этот счет свои соображения…» И хоть бы это было справедливо, а то просто сосед Александра Владимирыча, Карасиков Антон, поскупился королёвскому приказчику сто рублев ассигнациями взнести. Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимирыч по сих пор себя правым почитает и всё о суконной фабрике толкует, только к осушке болота не приступает. – А как он в своем именье распоряжается? – Всё новые порядки вводит. Мужики не хвалят, – да их слушать нечего. Хорошо поступает Александр Владимирыч. – Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины? – Я – другое дело. Я ведь не дворянин и не помещик. Что мое за хозяйство?.. Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по справедливости и по закону – и то слава богу! Молодые господа прежних порядков не любят: я их хвалю… Пора за ум взяться. Только вот что горе: молодые господа больно мудрят. С мужиком, как с куклой, поступают: повертят, повертят, поломают да и бросят. И приказчик, крепостной человек, или управитель, из немецких уроженцев, опять крестьянина в лапы заберет. И хотя бы один из молодых-то господ пример подал, показал: вот, мол, как надо распоряжаться!.. Чем же это кончится? Неужто ж я так и умру и новых порядков не увижу?.. Что за притча? – Старое вымерло, а молодое не нарождается! Я не знал, что отвечать Овсяникову. Он оглянулся, придвинулся ко мне поближе и продолжал вполголоса: – А слыхали про Василья Николаича Любозвонова? – Нет, не слыхал. – Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаич. Смотрят мужики – что за диво! – Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой; рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской; бороду отпустил, а на голове така

шапонька мудреная, и лицо такое мудреное, – пьян, не пьян, а и не в своем уме. «Здорово, говорит, ребята! бог вам в помощь». Мужики ему в пояс, – только молча: заробели, знаете. И он словно сам робеет. Стал он им речь держать: «Я-де русский, говорит, и вы русские; я русское всё люблю… русская, дескать, у меня душа и кровь тоже русская…» Да вдруг как скомандует: «А ну, детки, спойте-ка русскую, народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись; вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался… И вот чему удивляться надо: бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные, точно; одевались почитай что кучерами и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали; а ведь этот-то, Василий-то Николаич, словно красная девушка: всё книги читает али пишет, а не то вслух канты произносит, – ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе по саду гуляет, словно скучает или грустит. Прежний-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился: перед приездом Василья Николаича дворы крестьянские обегал, всем кланялся, – видно, чуяла кошка, чье мясо съела! И мужики надеялись, думали: «Шалишь, брат! Ужо тебя к ответу потянут, голубчика; вот ты ужо напляшешься, жила ты этакой!..» А вместо того вышло – как вам доложить? сам господь не разберет, что такое вышло! Позвал его к себе Василий Николаич и говорит, а сам краснеет, и так, знаете, дышит скоро: «Будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь?» Да с тех пор его к своей особе и не требовал! В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул; а мужики к Василью Николаичу подступиться не смеют: боятся. И ведь вот опять что удивления достойно: и кланяется им барин, и смотрит приветливо, – а животы у них от страху так и подводит. Что за чудеса такие, батюшка, скажите?.. Или я глуп стал, состарелся, что ли, – не понимаю. Я отвечал Овсяникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен. – Какое болен! Поперек себя толще, и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром что молод… А впрочем, господь ведает! (И Овсяников глубоко вздохнул.) – Ну, в сторону дворян, – начал я, – что вы мне об однодворцах скажете, Лука Петрович? – Нет, уж вот от этого увольте, – поспешно проговорил он, – право… и сказал бы вам… да что! (Овсяников рукой махнул.) Станемте лучше чай кушать… Мужики, как есть мужики; а впрочем, правду сказать, как же и быть-то нам? Он замолчал. Подали чай. Татьяна Ильинична встала с своего места и села поближе к нам. В течение вечера она несколько раз без шума выходила и так же тихо возвращалась. В комнате воцарилось молчание. Овсяников важно и медленно выпивал чашку за

чашкой. – Митя был сегодня у нас, – вполголоса заметила Татьяна Ильинична. Овсяников нахмурился. – Чего ему надобно? – Приходил прощенья просить. Овсяников покачал головою. – Ну, подите вы, – продолжал он, обращаясь ко мне, – что прикажете делать с сродственниками? И отказаться от них невозможно… Вот и меня тоже бог наградил племянничком. Малый он с головой, бойкий малый, спору нет; учился хорошо, только проку мне от него не дождаться. На службе казенной состоял – бросил службу: вишь, ему ходу не было… Да разве он дворянин? И дворян-то не сейчас в генералы жалуют. Вот теперь и живет без дела… Да это бы еще куда ни шло, – а то в ябедники пустился! Крестьянам просьбы сочиняет, доклады пишет, сотских научает, землемеров на чистую воду выводит, по питейным домам таскается, с бессрочными, с мещанами городскими да с дворниками на постоялых дворах знается. Долго ли тут до беды? Уж и становые и исправники ему не раз грозились. Да он, благо, балагурить умеет: их же рассмешит, да им же потом и наварит кашу… Да полно, не сидит ли он у тебя в каморке? – прибавил он, обращаясь к жене. – Я ведь тебя знаю: ты ведь сердобольная такая, – покровительство ему оказываешь. Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснела. – Ну, так и есть, – продолжал Овсяников… – Ох ты, баловница! Ну, вели ему войти, – уж так и быть, ради дорогого гостя, прощу глупца… Ну, вели, вели… Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула: «Митя!» Митя, малый лет двадцати восьми, высокий, стройный и кудрявый, вошел в комнату и, увидев меня, остановился у порога. Одежда на нем была немецкая, но одни неестественной величины буфы на плечах служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский – российский портной. – Ну, подойди, подойди, – заговорил старик, – чего стыдишься? Благодари тетку: прощен… Вот, батюшка, рекомендую, – продолжал он, показывая на Митю, – и родной племянник, а не слажу никак. Пришли последние времена! (Мы друг другу поклонились.) Ну, говори, что ты там такое напутал? За что на тебя жалуются, сказывай. Мите, видимо, не хотелось объясняться и оправдываться при мне. – После, дядюшка, – пробормотал он. – Нет, не после, а теперь, – продолжал старик… – Тебе, я знаю, при господине помещике совестно: тем лучше – казнись. Изволь, изволь-ка говорить… Мы послушаем. – Мне нечего стыдиться, – с живостью начал Митя и тряхнул головой. – Извольте сами, дядюшка, рассудить. Приходят ко мне решетиловские однодворцы и говорят: «Заступись, брат». – «Что такое?» – «А вот что: магазины хлебные у нас в исправности, то есть лучше быть не может; вдруг приезжает к нам чиновник: приказано-де осмотреть магазины.

Осмотрел и говорит: „В беспорядке ваши магазины, упущенья важные, начальству обязан донести“. – „Да в чем упущенья?“ – „А уж про это я знаю“, говорит… Мы было собрались и решили: чиновника как следует отблагодарить, – да старик Прохорыч помешал; говорит: этак их только разлакомишь. Что, в самом деле? или уж нет нам расправы никакой?.. Мы старика-то и послушались, а чиновник-то осерчал и жалобу подал, донесение написал. Вот теперь и требуют нас к ответу». – «Да точно ли у вас магазины в исправности?» – спрашиваю я. «Видит бог, в исправности, и законное количество хлеба имеется…» – «Ну, говорю, так вам робеть нечего», – и написал им бумагу… И еще неизвестно, в чью пользу дело решится… А что вам на меня по этому случаю нажаловались, – дело понятное: всякому своя рубашка к телу ближе. – Всякому, да, видно, не тебе, – сказал старик вполголоса… – А что у тебя там за каверзы с шутоломовскими крестьянами? – А вы почему знаете? – Стало быть, знаю. – И тут я прав, – опять-таки извольте рассудить. У шутоломовских крестьян сосед Беспандин четыре десятины земли запахал. Моя, говорит, земля. Шутоломовцы-то на оброке, помещик их за границу уехал – кому за них заступиться, сами посудите? А земля их бесспорная, крепостная, испокон веку. Вот и пришли ко мне, говорят: напиши просьбу. Я и написал. А Беспандин узнал и грозиться начал: «Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертлюгов повыдергаю, а не то и совсем голову с плеч снесу…» Посмотрим, как-то он ее снесет: до сих пор цела. – Ну, не хвастайся: несдобровать ей, твоей голове, – промолвил старик, – человек-то ты сумасшедший вовсе! – А что ж, дядюшка, не вы ли сами мне говорить изволили… – Знаю, знаю, что ты мне скажешь, – перебил его Овсяников, – точно: по справедливости должен человек жить и ближнему помогать обязан есть. Бывает, что и себя жалеть не должен… Да ты разве всё так поступаешь? Не водят тебя в кабак, что ли? не поят тебя, не кланяются, что ли: «Дмитрий Алексеич, – дескать, – батюшка, помоги, а благодарность мы уж тебе предъявим», – да целковенький или синенькую из-под полы в руку? А? не бывает этого? сказывай, не бывает? – В этом я точно виноват, – отвечал, потупившись, Митя, – но с бедных я не беру и душой не кривлю. – Теперь не берешь, а самому придется плохо – будешь брать. Душой не кривишь… эх, ты! Знать, за святых всё заступаешься!.. А Борьку Переходова забыл?.. Кто за него хлопотал? кто покровительство ему оказывал? а? – Переходов по своей вине пострадал, точно… – Казенные деньги потратил… Шутка! – Да вы, дядюшка, сообразите: бедность, семейство… – Бедность, бедность… Человек он пьющий, азартный – вот что! – Пить он с горя начал, – заметил

Митя, понизив голос. – С горя! Ну, помог бы ему, коли сердце в тебе такое ретивое, а не сидел бы с пьяным человеком в кабаках сам. Что он красно говорит, – вишь невидаль какая! – Человек-то он добрейший… – У тебя все добрые… А что, – продолжал Овсяников, обращаясь к жене, – послали ему… ну, там, ты знаешь… Татьяна Ильинична кивнула головой. – Где ты эти дни пропадал? – заговорил опять старик. – В городе был. – Небось всё на биллиарде играл да чайничал, на гитаре бренчал, по присутственным местам шмыгал, в задних комнатках просьбы сочинял, с купецкими сынками щеголял? Так ведь?.. Сказывай! – Оно, пожалуй, что так, – с улыбкой сказал Митя… – Ах, да! чуть было не забыл: Фунтиков, Антон Парфеныч, к себе вас в воскресенье просит откушать. – Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое. Бог с ним совсем! – А то я Федосью Михайловну встретил. – Какую это Федосью? – А Гарпенченки помещика, вот что Микулино сукциону купил. Федосья-то из Микулина. В Москве на оброке жила в швеях и оброк платила исправно, сто восемьдесят два рубля с полтиной в год…. И дело свое знает: в Москве заказы получала хорошие. А теперь Гарпенченко ее выписал, да вот и держит так, должности ей не определяет. Она бы и откупиться готова, и барину говорила, да он никакого решенья не объявляет. Вы, дядюшка, с Гарпенченкой-то знакомы, – так не можете ли вы замолвить ему словечко?.. А Федосья выкуп за себя даст хороший. – Не на твои ли деньги? ась? Ну, ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю, – продолжал старик с недовольным лицом, – этот Гарпенченко, прости господи, жила: векселя скупает, деньги в рост отдает, именья с молотка приобретает… И кто его в нашу сторону занес? Ох, уж эти мне заезжие! Не скоро от него толку добьешься, – а впрочем, посмотрим. – Похлопочите, дядюшка. – Хорошо, похлопочу. Только ты смотри, смотри у меня! Ну, ну, не оправдывайся… Бог с тобой, бог с тобой!.. Только вперед смотри, а то, ей-богу, Митя, несдобровать тебе, – ей-богу, пропадешь. Не всё же мне тебя на плечах выносить… я и сам человек не властный. Ну, ступай теперь с богом. Митя вышел. Татьяна Ильинична отправилась за ним. – Напой его чаем, баловница, – закричал ей вслед Овсяников… – Неглупый малый, – продолжал он, – и душа добрая, только я боюсь за него… А впрочем, извините, что так долго вас пустяками занимал. Дверь из передней отворилась. Вошел низенький, седенький человек в бархатном сюртучке. – А, Франц Иваныч! – вскрикнул Овсяников. – Здравствуйте! как вас бог милует? Позвольте, любезный читатель, познакомить вас и с этим господином. Франц Иваныч Лежёнь (Lejeune), мой сосед и орловский помещик, не

совсем обыкновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане, от французских родителей, и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России, в качестве барабанщика. Сначала всё шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. Но на возвратном пути бедный m-r Lejeune, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби, возле плотины, и начали просить барабанщика «de la grrrrande armée» уважить их, то есть нырнуть под лед. M-r Lejeune не мог согласиться на их предложение и в свою очередь начал убеждать смоленских мужичков, на французском диалекте, отпустить его в Орлеан. «Там, messieurs, – говорил он, – мать у меня живет, une tendre mère». Но мужички, вероятно по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествие вниз по течению извилистой речки Гнилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки, как вдруг, к неописанной радости Лежёня, раздался звук колокольчика и на плотину взъехали огромные сани с пестрейшим ковром на преувеличенно-возвышенном задке, запряженные тройкой саврасых вяток. В санях сидел толстый и румяный помещик в волчьей шубе. – Что вы там такое делаете? – спросил он мужиков. – А француzя топим, батюшка. – А! – равнодушно возразил помещик и отвернулся. – Monsieur! Monsieur! – закричал бедняк. – А, а! – с укоризной заговорила волчья шуба, – с двунадесятью язык на Россию шел, Москву сжег, окаянный, крест с Ивана Великого стащил, а теперь – мусье, мусье! а теперь и хвост поджал! По делам вору и мука… Пошел, Филька-а! Лошади тронулись. – А, впрочем, стой! – прибавил помещик… – Эй ты, мусье, умеешь ты музыке? – Sauvez moi, sauvez moi, mon bon monsieur! – твердил Лежёнь. – Ведь вишь народец! и по-русски-то ни один из них не знает! Мюзик, мюзик, савэ мюзик ву? савэ? Ну, говори же! Компренэ? савэ мюзик ву? на фортопьяно жуэ савэ? Лежёнь понял, наконец, чего добивается помещик, и утвердительно закивал головой. – Oui, monsieur, oui, oui, je suis musicien; je joue de tous les instruments possibles! Oui, monsieur… Sauvez moi, monsieur! – Ну, счастлив твой бог, – возразил помещик… – Ребята, отпустите его; вот вам двугривенный на водку. – Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его. Лежёня посадили в сани. Он задыхался от радости, плакал, дрожал, кланялся, благодарил помещика, кучера, мужиков. На нем была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещал на славу. Помещик молча глянул на его посипевшие и

окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворня сбежалась. Француза наскоро отогрели, накормили и одели. Помещик повел его к своим дочерям. – Вот, дети, – сказал он им, – учитель вам сыскан. Вы всё приставали ко мне: выучи-де нас музыке и французскому диалекту: вот вам и француз, и на фортопьянах играет… Ну, мусье, – продолжал он, указывая на дрянные фортепьянишки, купленные им за пять лет у жида, который, впрочем, торговал одеколоном, – покажи нам свое искусство: жуэ! Лежёнь с замирающим сердцем сел на стул: он отроду и не касался фортепьян. – Жуэ же, жуэ же! – повторял помещик. С отчаяньем ударил бедняк по клавишам, словно по барабану, заиграл как попало… «Я так и думал, – рассказывал он потом, – что мой спаситель схватит меня за ворот и выбросит вон из дому». Но, к крайнему изумлению невольного импровизатора, помещик, погодя немного, одобрительно потрепал его по плечу. «Хорошо, хорошо, – промолвил он, – вижу, что знаешь; поди теперь отдохни». Недели через две от этого помещика Лежёнь переехал к другому, человеку богатому и образованному, полюбился ему за веселый и кроткий нрав, женился на его воспитаннице, поступил на службу, вышел в дворяне, выдал свою дочь за орловского помещика Лобызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился сам на жительство в Орел. Вот этот-то самый Лежёнь, или, как теперь его называют, Франц Иваныч, и вошел при мне в комнату Овсяникова, с которым он состоял в дружественных отношениях… Но, быть может, читателю уже наскучило сидеть со мною у однодворца Овсяникова, и потому я красноречиво умолкаю.

Льгов

– Поедемте-ка в Льгов, – сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай, – мы там уток настреляем вдоволь. Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но, за неименьем пока другой дичи (дело было в начале сентября: вальдшнепы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело), я послушался моего охотника и отправился в Льгов. Льгов – большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником, по-орловскому – Майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород: кряковых, полукряковых, шилохвостых, чирков, нырков и пр. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: фу-у! Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится; во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный чирок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии: несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну и только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников. – Нет, – промолвил, наконец, Ермолай, – дело неладно: надо достать лодку… Пойдемте назад в Льгов. Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста, в синем сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гри-де-лень или блё-д-амур, наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки, с обычным, их породе свойственным, китайским церемониалом, снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась всем телом, не сгибая коленей и скаля зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет двадцать пять; его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами, – небольшие карие глазки приветливо моргали, – всё лицо,

повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось. – Позвольте себя рекомендовать, – начал он мягким и вкрадчивым голосом, – я здешний охотник Владимир… Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги. Охотник Владимир говорил, ни дать ни взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущенный дворовый человек; в нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами; волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятиям, успевал: русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно; особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может, при случае, изъявить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не «субтильный», начал было его «тыкать». Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему: «Вы-с…» – Зачем вы повязаны платком? – спросил я его. – Зубы болят? – Нет-с, – возразил он, – это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек-с, но вовсе не охотник, как это бывает-с. Вот-с в один день говорит он мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту: я любопытствую узнать – в чем состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел отказать товарищу; достал ему, с своей стороны, ружье-с и взял его на охоту-с. Вот-с мы как следует поохотились; наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел под деревом; он же, напротив того, с своей стороны, начал выкидывать ружьем артикул-с, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но, по неопытности своей, он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки. Мы дошли до Льгова. И Владимир, и Ермолай, оба решили, что без лодки охотиться было невозможно. – У Сучка есть дощаник, – заметил Владимир, – да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбегать к нему. – К кому? –

спросил я. – А здесь человек живет, прозвище ему Сучок. Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну с следующими надписями: на одной стороне французскими буквами: «Ci gît Théophile Henri, vicomte de Blangy»; на другой: «Под сим камнем погребено тело французского подданного, графа Бланжия; родился 1737, умре 1799 года, всего жития его было 62 года»; на третьей: «Мир его праху», а на четвертой:

Под камнем сим лежит французский эмигрант;
Породу знатную имел он и талант,
Супругу и семью оплакав избиянну,
Покинул родину, тиранами попранну;
Российския страны достигнув берегов,
Обрел на старости гостеприимный кров;
Учил детей, родителей покоил…
Всевышний судия его здесь успокоил…

Приход Ермолая, Владимира и человека с странным прозвищем Сучок прервал мой размышления. Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым, лет шестидесяти. – Есть у тебя лодка? – спросил я. – Лодка есть, – отвечал он глухим и разбитым голосом, – да больно плоха. – А что? – Расклеилась; да из дырьев клепки повывалились. – Велика беда! – подхватил Ермолай. – Паклей заткнуть можно. – Известно, можно, – подтвердил Сучок. – Да ты кто? – Господский рыболов. – Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности? – Да в нашей реке и рыбы-то нету. – Рыба не любит ржавчины болотной, – с важностью заметил мой охотник. – Ну, – сказал я Ермолаю, – поди достань пакли и справь нам лодку, да поскорей. Ермолай ушел. – А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем? – сказал я Владимиру. – Бог милостив, – отвечал он. – Во всяком случае должно предполагать, что пруд не глубок. – Да, он не глубок, – заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно спросонья. – да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины. – Однако же, если трава так сильна, – заметил Владимир, – так и грести нельзя будет. – Да кто ж на дощаниках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду; у меня там есть шестик, – а то и лопатой можно. – Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй, не достанешь, – сказал Владимир. – Оно правда, что неловко. Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел, для приличия, несколько в сторону и тоже сел. Сучок

продолжал стоять на месте, повеся голову и сложив, по старой привычке, руки за спиной. – Скажи, пожалуйста, – начал я, – давно ты здесь рыбаком? – Седьмой год пошел, – отвечал он, встрепенувшись. – А прежде чем ты занимался? – Прежде ездил кучером. – Кто ж тебя из кучеров разжаловал? – А новая барыня. – Какая барыня? – А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алена Тимофевна, толстая такая… немолодая. – С чего ж она вздумала тебя в рыболовы произвести? – А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего: не серчает… А потом и стала по порядку нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял? Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером». – «Кучером? Ну, какой ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?..» С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. «Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке…» А как его содержать в порядке? – Чьи же вы прежде были? – А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У него-то вот я кучером и ездил… да не в городе – там у него другие были, а в деревне. – И ты смолоду всё был кучером? – Какое всё кучером! В кучера-то я попал при Сергее Сергеиче, а прежде поваром был, – но не городским тоже поваром, а так, в деревне. – У кого ж ты был поваром? – А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеичина дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследствию досталось. – У кого купил? – А у Татьяны Васильевны. – У какой Татьяны Васильевны? – А вот, что в запрошлом году умерла, под Болховым… то бишь под Карачевым, в девках… И замужем не бывала. Не изволите знать? Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василья Семеныча. Она-таки долгонько нами владела… годиков двадцать. – Что ж, ты и у ней был поваром? – Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки попал. – Во что? – В кофишенки. – Это что за должность такая? – А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила. – Твое настоящее имя Кузьма? – Кузьма. – И ты всё время был кофишенком? – Нет, не всё время: был и ахтером. – Неужели? – Как же, был… на кеятре играл. Барыня наша кеятр у себя завела. – Какие же ты роли занимал? – Чего изволите-с? – Что ты делал на театре? – А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят; я так и хожу наряженный, или стою, или сижу, как там придется. Говорят: вот что говори, – я и говорю. Раз слепого

представлял… Под каждую веку мне по горошине положили… Как же! – А потом чем был? – А потом опять в повара поступил. – За что же тебя опять в повара разжаловали? – А брат у меня сбежал. – Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был? – А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим. – Доезжачим?.. И с собаками ездил? – Ездил и с собаками, да убился: с лошадью упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий; велел меня выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапожнику. – Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачие попал? – Да лет, этак, мне было двадцать с лишком. – Какое ж тут ученье в двадцать лет? – Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер, – меня в деревню и вернули. – Когда же ты поварскому-то мастерству обучился? Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся. – Да разве этому учатся?.. Стряпают же бабы! – Ну, – промолвил я, – видал ты, Кузьма, виды на своем веку! Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету? – А я, батюшка, не жалуюсь. И славу богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика – Андрея Пупыря – в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть… А Пупырь-то еще на милость надеялся: у него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком: доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся. – Есть у тебя семейство? Был женат? – Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница – царство ей небесное! – никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках, что за баловство! чего им надо?» – Чем же ты живешь теперь? Жалованье получаешь? – Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются – и то слава тебе, господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже! Ермолай вернулся. – Справлена лодка, – произнес он сурово. – Ступай за шестом – ты!.. Сучок побежал за шестом. Во всё время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой. – Глупый человек-с, – промолвил он, когда тот ушел, – совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с… и всё хвастал-с… Где ж ему быть актером-с, сами извольте рассудить-с! Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с! Через четверть часа мы уже сидели в дощанике Сучка. (Собак мы оставили в избе под надзором кучера Иегудиила.) Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого, заднего конца стоял Сучок и «пихался»;

мы с Владимиром сидели на перекладине лодки; Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул. Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав; сплошные круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, «срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали: легко подраненные ныряли; иные, убитые наповал, падали в такой густой майер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их; но всё-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью. Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я – довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, смолоду состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон еще утица!» – и то и дело почесывал спину – не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная: белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде; тростник шушукал кругом; пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие. Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу всё набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного, на всякий случай, моим предусмотрительным охотником у, зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника, – как вдруг, от сильного движения Ермолая (он старался достать убитую птицу и всем телом налег на крап), наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно: через мгновенье мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих

товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем); но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и Сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай. – Тьфу ты, пропасть! – пробормотал он, плюнув в воду, – какая оказия! А всё ты, старый чёрт! – прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку. – Что это у тебя за лодка? – Виноват, – пролепетал старик. – Да и ты хорош, – продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира, – чего смотрел? чего не черпал? ты, ты, ты… Но Владимиру было уж не до возражений: он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал, и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства! Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими ногами… В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся; кругом, в десяти шагах от нас, росли тростники; вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо!» – подумал я. – Как нам быть? – спросил я Ермолая. – А вот посмотрим: не ночевать же здесь, – ответил он. – На, ты, держи ружье, – сказал он Владимиру. Владимир беспрекословно повиновался. – Пойду сыщу брод, – продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод, – взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно. – Да ты умеешь ли плавать? – спросил я его. – Нет, не умею, – раздался его голос из-за тростника. – Ну, так утонет, – равнодушно заметил Сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь, совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение. – И без всякой пользы пропадет-с, – жалобно прибавил Владимир. Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликивались с ним очень усердно; потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами; иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, «колом», и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался. Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся. – Ну, что? – Был на берегу; брод нашел… Пойдемте. Мы хотели было тотчас же отправиться; но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел

вперед; Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около двухсот шагов, Ермолай шел смело и безостановочно (так хорошо заметил он дорогу), лишь изредка покрикивая: «Левей, – тут направо колдобина!» или: «Правей, – тут налево завязнешь…» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри: «Ну, ну, ну!» – грозно кричал на него Ермолай, – и Сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега. Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табаком Сучка. (Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся.) Сучок нюхал с остервенением, до тошноты: плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку набок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки; лошади топали и ржали под навесом… Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи; золотые тучки расстилались по небу всё мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна… На селе раздавались песни.

Бежин луг

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра… Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты – несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба… В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами

закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидал совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся… «Эге! – подумал я, – да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», – и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, – думал я про себя, – тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!» Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далёко-далёко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня… «Э! да это Парахинские кусты! – воскликнул я наконец, – точно! Вон это, должно быть, Синдеевская роща… Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять». Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Всё кругом быстро чернело и утихало, – одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть – но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем. Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» – повторил я опять вслух, остановился

в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших белых камней, – казалось, они сползлись туда для тайного совещания, – и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я всё еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам – наудалую… Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я всё шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной. Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы… Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга… Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но

не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним. Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве. Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи всё казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах – запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума… Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо

зашумит, едва поколебленный набежавшей волной… Одни огоньки тихонько потрескивали. Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.) Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги – не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый – что и говорить! – а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились – он словно всё щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Всё лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки: губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для

чего на языке, – на его языке по крайней мере, – не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь. Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и всё так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились. Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его: – Ну, и что ж ты, так и видел домового? – Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, – отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, – а слышал… Да и не я один. – А он у вас где водится? – спросил Павлуша. – В старой рольне. – А разве вы на фабрику ходите? – Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках состоим. – Вишь ты – фабричные!.. – Ну, так как же ты его слышал? – спросил Федя. – А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять – как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что́, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а за́ставки у дворца-то спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось да и стало. Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спущаться стал, и этак спущается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут… Ну, подошел тот к нашей двери,

подождал, подождал – дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим – ничего… Вдруг, глядь, у одного чана форма зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так… Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли… Уж как же мы напужались о ту пору! – Вишь как! – промолвил Павел. – Чего ж он раскашлялся? – Не знаю; может, от сырости. Все помолчали. – А что, – спросил Федя, – картошки сварились? Павлуша пощупал их. – Нет, еще сыры… Вишь, плеснула, – прибавил он, повернув лицо в направлении реки, – должно быть, щука… А вон звездочка покатилась. – Нет, я вам что, братцы, расскажу, – заговорил Костя тонким голоском, – послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал. – Ну, слушаем, – с покровительствующим видом сказал Федя. – Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника? – Ну да; знаем. – А знаете ли, отчего он такой всё невеселый, всё молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, – пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи да и заблудился; зашел – бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, – нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, – присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит – никого. Он опять задремал – опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со́ смеху, смеется… А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц – всё, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидят на ветке, словно плотичка какая или пескарь, – а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный… Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его всё к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, господь его надоумил: положил-таки на себя крест… А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается… Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет… Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты

крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти… А только с тех пор вот он всё невеселый ходит. – Эка! – проговорил Федя после недолгого молчанья, – да как же это может этакая лесная нечисть хрестиянскую душу спортить, – он же ее не послушался? – Да вот поди ты! – сказал Костя. – И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы. – Твой батька сам это рассказывал? – продолжал Федя. – Сам. Я лежал на полатях, всё слышал. – Чудно́е дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его. – Да, понравился! – подхватил Ильюша. – Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то. – А ведь вот и здесь должны быть русалки, – заметил Федя. – Нет, – отвечал Костя, – здесь место чистое, вольное. Одно – река близко. Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься – и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу топким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули… – С нами крестная сила! – шепнул Илья. – Эх вы, вороны! – крикнул Павел, – чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? – сказал Павел. Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился. – А слыхали вы, ребятки, – начал Ильюша, – что намеднись у нас на Варнавицах приключилось? – На плотине-то? – спросил Федя. – Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли водятся. – Ну, что такое случилось? сказывай… – А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще видна, да и та чуть видна: так – бугорочек… Вот на днях зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит… Вот и едет

Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, – что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки… Но а барашек – ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, – говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша…» Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся… Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесся уже издалека… Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет… Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки. – Что там? что такое? – спросили мальчики. – Ничего, – отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, – так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, – прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью. Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка… «Что за славный мальчик!» – думал я, глядя на него. – А видали их, что ли, волков-то? – спросил трусишка Костя. – Их всегда здесь много, – отвечал Павел, – да они беспокойны только зимой. Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу. Ваня опять забился под рогожку. – А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал, – заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство). – Да и собак тут нелегкая дернула залаять… А точно, я слышал, это место у вас

нечистое. – Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали – покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и всё это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?» – Он его спросил? – перебил изумленный Федя. – Да, спросил. – Ну, молодец же после этого Трофимыч… Ну, и что ж тот? – Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: – разрыв-травы. – А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы? – Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон… – Вишь какой! – заметил Федя, – мало, знать, пожил. – Экое диво! – промолвил Костя. – Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть. – Покойников во всяк час видеть можно, – с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья… – Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да всё на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила. – Ну, и видела она кого-нибудь? – с любопытством спросил Костя. – Как же. Первона́перво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала… только всё как будто собачка этак залает, залает где-то… Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась – Ивашка Федосеев идет… – Тот, что умер весной? – перебил Федя. – Тот самый. Идет и головушки не подымает… А узнала его Ульяна… Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться – ах ты, господи! – сама идет по дороге, сама Ульяна. – Неужто сама? – спросил Федя. – Ей-богу, сама. – Ну что ж, ведь она еще не умерла? – Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится. Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, – налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами. – Знать, от дому отбился, – заметил Павел. – Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари. – А что, Павлуша, – промолвил Костя, – не праведная ли эта душа летела на небо, ась? Павел бросил другую горсть сучьев на огонь. – Может быть, – проговорил он наконец. – А скажи, пожалуй, Павлуша, – начал Федя, – что, у вас тоже в Шаламове

было видать предвиденье-то небесное? – Как солнца-то не стало видно? Как же. – Чай, напугались и вы? – Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку увидят. – Какого это Тришку? – спросил Костя. – А ты не знаешь? – с жаром подхватил Ильюша, – ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка – эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет – так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, – он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется – они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский… ну, а сделать ему нельзя будет ничего… Уж такой он будет удивительный, лукавый человек. – Ну да, – продолжал Павел своим неторопливым голосом, – такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят – вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная… Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» – да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел. Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и

царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли… Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и спустя несколько мгновений повторился уже далее… Костя вздрогнул. «Что это?» – Это цапля кричит, – спокойно возразил Павел. – Цапля, – повторил Костя… – А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, – прибавил он, помолчав немного, – ты, может быть, знаешь… – Что ты слышал? – А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва всё нашим орешником, а потом лужком пошел – знаешь, там, где он сугибелью выходит, – там ведь есть бучило; знаешь, оно еще всё камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у… у-у… у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал… Что бы это такое было? ась? – В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры, – заметил Павлуша, – так, может быть, его душа жалобится. – А ведь и то, братцы мои, – возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза… – Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался. – А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, – продолжал Павел, – которые так жалобно кричат. – Лягушки? Ну, нет, это не лягушки… какие это… (Цапля опять прокричала над рекой.) – Эк ее! – невольно произнес Костя, – словно леший кричит. – Леший не кричит, он немой, – подхватил Ильюша, – он только в ладоши хлопает да трещит… – А ты его видал, лешего-то, что ли? – насмешливо перебил его Федя. – Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и всё вокруг одной поляны… Едва-те к свету домой добился. – Ну, и видел он его? – Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает… – Эх ты! – воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами, – пфу!.. – И зачем эта погань в свете развелась? – заметил Павел. – Не понимаю, право! – Не бранись: смотри, услышит, – заметил Илья. Настало

опять молчание. – Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, – раздался вдруг детский голос Вани, – гляньте на божьи звездочки, – что пчелки роятся! Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились. – А что, Ваня, – ласково заговорил Федя, – что, твоя сестра Анютка здорова? – Здорова, – отвечал Ваня, слегка картавя. – Ты ей скажи – что́ она к нам, отчего не ходит?.. – Не знаю. – Ты ей скажи, чтобы она ходила. – Скажу. – Ты ей скажи, что я ей гостинца дам. – А мне дашь? – И тебе дам. Ваня вздохнул. – Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая. И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик. – Куда ты? – спросил его Федя. – К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить. Собаки поднялись и пошли за ним. – Смотри, не упади в реку! – крикнул ему вслед Ильюша. – Отчего ему упасть? – сказал Федя, – он остережется. – Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду… А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез, – прибавил он, прислушиваясь. Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас. – А правда ли, – спросил Костя, – что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала? – С тех пор… Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил. (Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.) – А говорят, – продолжал Костя, – Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул. – От того самого. – А помнишь Васю? – печально прибавил Костя. – Какого Васю? – спросил Федя. – А вот того, что утонул, – отвечал Костя, – в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться, – она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как

утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, – глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, – помните, Вася-то всё такую песенку певал, – вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится… – А вот Павлуша идет, – молвил Федя. Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке. – Что, ребята, – начал он, помолчав, – неладно дело. – А что? – торопливо спросил Костя. – Я Васин голос слышал. Все так и вздрогнули. – Что ты, что ты? – пролепетал Костя. – Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул. – Ах ты, господи! ах ты, господи! – проговорили мальчики, крестясь. – Ведь это тебя водяной звал, Павел, – прибавил Федя… – А мы только что о нем, о Васе-то, говорили. – Ах, это примета дурная, – с расстановкой проговорил Ильюша. – Ну, ничего, пущай! – произнес Павел решительно и сел опять, – своей судьбы не минуешь. Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать. – Что это? – спросил вдруг Костя, приподняв голову. Павел прислушался. – Это кулички летят, посвистывают. – Куда ж они летят? – А туда, где, говорят, зимы не бывает. – А разве есть такая земля? – Есть. – Далеко? – Далеко, далеко, за теплыми морями. Костя вздохнул и закрыл глаза. Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была всё так же великолепна, как и прежде… Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; всё совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает всё только к утру: всё спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, – в нем снова как будто разливалась сырость… Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями… Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы… Сладкое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту. Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Всё стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело;

звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса́, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня. Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, – полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света… Всё зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун… Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

Касьян с красивой мечи

Я возвращался с охоты в тряской тележке и, подавленный душным зноем летнего облачного дня (известно, что в такие дни жара бывает иногда еще несноснее, чем в ясные, особенно когда нет ветра), дремал и покачивался, с угрюмым терпением предавая всего себя на съедение мелкой белой пыли, беспрестанно поднимавшейся с выбитой дороги из-под рассохшихся и дребезжавших колес, – как вдруг внимание мое было возбуждено необыкновенным беспокойством и тревожными телодвижениями моего кучера, до этого мгновения еще крепче дремавшего, чем я. Он задергал вожжами, завозился на облучке и начал покрикивать на лошадей, то и дело поглядывая куда-то в сторону. Я осмотрелся. Мы ехали по широкой распаханной равнине; чрезвычайно пологими, волнообразными раскатами сбегали в нее невысокие, тоже распаханные холмы; взор обнимал всего каких-нибудь пять верст пустынного пространства; вдали небольшие березовые рощи своими округленно-зубчатыми верхушками одни нарушали почти прямую черту небосклона. Узкие тропинки тянулись по полям, пропадали в лощинках, вились по пригоркам, и на одной из них, которой в пятистах шагах впереди от нас приходилось пересекать нашу дорогу, различил я какой-то поезд. На него-то поглядывал мой кучер. Это были похороны. Впереди, в телеге, запряженной одной лошадкой, шагом ехал священник; дьячок сидел возле него и правил; за телегой четыре мужика, с обнаженными головами, несли гроб, покрытый белым полотном; две бабы шли за гробом. Тонкий, жалобный голосок одной из них вдруг долетел до моего слуха; я прислушался: она голосила. Уныло раздавался среди пустых полей этот переливчатый, однообразный, безнадежно-скорбный напев. Кучер погнал лошадей: он желал предупредить этот поезд. Встретить на дороге покойника – дурная примета. Ему действительно удалось проскакать по дороге прежде, чем покойник успел добраться до нее; но мы еще не отъехали и ста шагов, как вдруг нашу телегу сильно толкнуло, она накренилась, чуть не завалилась. Кучер остановил разбежавшихся лошадей, нагнулся с облучка, посмотрел, махнул рукой и плюнул. – Что там такое? – спросил я. Кучер мой слез молча и не торопясь. – Да что такое? – Ось сломалась… перегорела, – мрачно отвечал он и с таким негодованием поправил вдруг шлею на пристяжной, что та совсем покачнулась было набок, однако устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себе зубом ниже колена передней ноги. Я слез и постоял некоторое время на дороге, смутно

предаваясь чувству неприятного недоумения. Правое колесо почти совершенно подвернулось под телегу и, казалось, с немым отчаянием поднимало кверху свою ступицу. – Что теперь делать? – спросил я наконец. – Вон кто виноват! – сказал мой кучер, указывая кнутом на поезд, который успел уже свернуть на дорогу и приближался к нам, – уж я всегда это замечал, – продолжал он, – это примета верная – встретить покойника… Да. И он опять обеспокоил пристяжную, которая, видя его нерасположение и суровость, решилась остаться неподвижною и только изредка и скромно помахивала хвостом. Я походил немного взад и вперед и опять остановился перед колесом. Между тем покойник нагнал нас. Тихо свернув с дороги на траву, потянулось мимо нашей телеги печальное шествие. Мы с кучером сняли шапки, раскланялись с священником, переглянулись с носильщиками. Они выступали с трудом; высоко поднимались их широкие груди. Из двух баб, шедших за гробом, одна была очень стара и бледна; неподвижные ее черты, жестоко искаженные горестью, хранили выражение строгой, торжественной важности. Она шла молча, изредка поднося худую руку к топким, ввалившимся губам. У другой бабы, молодой женщины лет двадцати пяти, глаза были красны и влажны, и всё лицо опухло от плача; поравнявшись с нами, она перестала голосить и закрылась рукавом… Но вот покойник миновал нас, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось ее жалобное, надрывающее душу пение. Безмолвно проводив глазами мерно колыхавшийся гроб, кучер мой обратился ко мне. – Это Мартына-плотника хоронят, – заговорил он, – что с Рябой. – А ты почему знаешь? – Я по бабам узнал. Старая-то – его мать, а молодая – жена. – Он болен был, что ли? – Да… горячка… Третьего дня за дохтуром посылал управляющий, да дома дохтура не застали… А плотник был хороший; зашибал маненько, а хороший был плотник. Вишь, баба-то его как убивается… Ну, да ведь известно: у баб слезы-то некупленные. Бабьи слезы та же вода… Да. И он нагнулся, пролез под поводом пристяжной и ухватился обеими руками за дугу. – Однако, – заметил я, – что ж нам делать? Кучер мой сперва уперся коленом в плечо коренной, тряхнул раза два дугой, поправил седёлку, потом опять пролез под поводом пристяжной и, толкнув ее мимоходом в морду, подошел к колесу – подошел и, не спуская с него взора, медленно достал из-под полы кафтана тавлинку, медленно вытащил за ремешок крышку, медленно всунул в тавлинку своих два толстых пальца (и два-то едва в ней уместились), помял-помял табак, перекосил заранее нос, понюхал с расстановкой, сопровождая каждый прием продолжительным кряхтением, и, болезненно щурясь и моргая прослезившимися

глазами, погрузился в глубокое раздумье. – Ну, что? – проговорил я наконец. Кучер мой бережно вложил тавлинку в карман, надвинул шляпу себе на брови, без помощи рук, одним движением головы, и задумчиво полез на облучок. – Куда же ты? – спросил я его не без изумления. – Извольте садиться, – спокойно отвечал он и подобрал вожжи. – Да как же мы поедем? – Уж поедем-с. – Да ось… – Извольте садиться. – Да ось сломалась… – Сломалась-то она сломалась; ну, а до выселок доберемся… шагом, то есть. Тут вот за рощей направо есть выселки, Юдиными прозываются. – И ты думаешь, мы доедем? Кучер мой не удостоил меня ответом. – Я лучше пешком пойду, – сказал я. – Как угодно-с… И он махнул кнутом. Лошади тронулись. Мы действительно добрались до выселков, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертелось. На одном пригорке оно чуть-чуть не слетело; но кучер мой закричал на него озлобленным голосом, и мы благополучно спустились. Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться набок, хотя их, вероятно, поставили недавно: дворы не у всех были обнесены плетнем. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души; даже куриц не было видно на улице, даже собак; только одна, черпая, с куцым хвостом, торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда ее, должно быть, загнала жажда, и тотчас, без лая, опрометью бросилась под ворота. Я зашел в первую избу, отворил дверь в сени, окликнул хозяев – никто не отвечал мне. Я кликнул еще раз: голодное мяуканье раздалось за другой дверью. Я толкнул ее ногой: худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнув во тьме зелеными глазами. Я всунул голову в комнату, посмотрел: темно, дымно и пусто. Я отправился на двор, и там никого не было… В загородке теленок промычал; хромой серый гусь отковылял немного в сторону. Я перешел во вторую избу – и во второй избе ни души. Я на двор… По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал, лицом к земле и накрывши голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележонки, стояла, под соломенным навесом, худая лошаденка в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия обветшалого намета, пестрил небольшими светлыми пятнами ее косматую красно-гнедую шерсть. Тут же, в высокой скворечнице, болтали скворцы, с спокойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошел к спящему, начал его будить… Он поднял голову, увидал меня и тотчас вскочил на ноги… «Что, что надо? что такое?» – забормотал он спросонья. Я не тотчас ему ответил:

до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Всё тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд. – Что надо? – спросил он меня опять. Я объяснил ему, в чем было дело, он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз. – Так нельзя ли нам новую ось достать? – сказал я наконец, – я бы с удовольствием заплатил. – А вы кто такие? Охотники, что ли? – спросил он, окинув меня взором с ног до головы. – Охотники. – Пташек небесных стреляете, небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную? Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого, – он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен. – Оси у меня нет, – прибавил он после небольшого молчания, – эта вот не годится (он указал на свою тележку), у вас, чай, телега большая. – А в деревне найти можно? – Какая тут деревня!.. Здесь ни у кого нет… Да и дома нет никого: все на работе. Ступайте, – промолвил он вдруг и лег опять на землю. Я никак не ожидал этого заключения. – Послушай, старик, – заговорил я, коснувшись до его плеча, – сделай одолжение, помоги. – Ступайте с богом! Я устал: в город ездил, – сказал он мне и потащил себе армяк на голову. – Да сделай же одолжение, – продолжал я, – я… я заплачу. – Не надо мне твоей платы. – Да пожалуйста, старик… Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки. – Я бы тебя свел, пожалуй, на ссечки. Тут у нас купцы рощу купили, – бог им судья, сводят рощу-то, ж контору выстроили, бог им судья. Там бы ты у них ось и заказал или готовую купил. – И прекрасно! – радостно воскликнул я. – Прекрасно!.. пойдем. – Дубовую ось, хорошую, – продолжал он, не поднимаясь с места. – А далеко до тех ссечек? – Три версты. – Ну что ж! Мы можем на твоей тележке доехать. – Да нет… – Ну, пойдем, – сказал я, – пойдем, старик! Кучер нас на улице дожидается. Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздраженном состоянии духа: он собрался было попоить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус ее был нехороший, а это, как говорят кучера, первое дело… Однако при виде старика он осклабился, закивал головой и воскликнул: – А, Касьянушка! здорово! – Здорово, Ерофей, справедливый человек! – отвечал Касьян унылым голосом. Я тотчас сообщил кучеру его предложение;

Ерофей объявил свое согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, старик стоял, прислонясь плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Он как будто недоумевал: его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение. – А разве и тебя переселили? – спросил его вдруг Ерофей, снимая дугу. – И меня. – Эк! – проговорил мой кучер сквозь зубы. – Знаешь, Мартын-то, плотник… ты ведь Рябовского Мартына знаешь? – Знаю. – Ну, он умер. Мы сейчас его гроб повстречали. Касьян вздрогнул. – Умер? – проговорил он и потупился. – Да, умер. Что ж ты его не вылечил, а? Ведь ты, говорят, лечишь, ты лекарка. Мой кучер видимо потешался, глумился над стариком. – А это твоя телега, что ли? – прибавил он, указывая на нее плечом. – Моя. – Ну, телега… телега! – повторил он и, взяв ее за оглобли, чуть не опрокинул кверху дном… – Телега!.. А на чем же вы на ссечки поедете?.. В эти оглобли нашу лошадь не впряжешь: наши лошади большие, а это что такое? – А не знаю, – отвечал Касьян, – на чем вы поедете; разве вот на этом животике, – прибавил он со вздохом. – На этом-то? – подхватил Ерофей и, подойдя к Касьяновой клячонке, презрительно ткнул ее третьим пальцем правой руки в шею. – Ишь, – прибавил он с укоризной, – заснула, ворона! Я попросил Ерофея заложить ее поскорей. Мне самому захотелось съездить с Касьяном на ссечки: там часто водятся тетерева. Когда уже тележка была совсем готова, и я кое-как вместе с своей собакой уже уместился на ее покоробленном лубочном дне, и Касьян, сжавшись в комочек и с прежним унылым выражением на лице, тоже сидел на передней грядке, – Ерофей подошел ко мне и с таинственным видом прошептал: – И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он такой, ведь он юродивец, и прозвище-то ему: Блоха. Я не знаю, как вы понять-то его могли… Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом: – Вы только смотрите, того, туда ли он вас привезет. Да ось-то сами извольте выбрать: поздоровее ось извольте взять… А что, Блоха, – прибавил он громко, – что, у вас хлебушком можно разжиться? – Поищи, может найдется, – отвечал Касьян, дернул вожжами, и мы покатили. Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до ссечек, а там добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей над небольшим оврагом, на скорую руку перехваченным плотиной и превращенным в пруд. Я нашел в этой конторе двух молодых купеческих приказчиков с белыми как снег

зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой речью и сладко-плутоватой улыбочкой, сторговал у них ось и отправился на ссечки. Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошел ко мне. – А что, пташек стрелять идешь? – заговорил он, – а? – Да, если найду. – Я пойду с тобой… Можно? – Можно, можно. И мы пошли. Вырубленного места было всего с версту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая головка (впрочем, его волосы могли заменить любую шапку) так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно всё подпрыгивал на ходу, беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и всё поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым, странным взглядом. В низких кустах, «в мелочах», и на ссечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними; поршок полетел, чиликая, у него из-под ног – он зачиликал ему вслед; жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая, – Касьян подхватил его песенку. Со мной он всё не заговаривал… Погода была прекрасная, еще прекраснее, чем прежде; но жара всё не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но видимо изменялись с каждым мгновением; они таяли, эти облака, и от них не падало тени. Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Молодые отпрыски, еще не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками почерневшие, низкие пни; круглые губчатые наросты с серыми каймами, те самые наросты, из которых вываривают трут, лепились к этим пням; земляника пускала по ним свои розовые усики; грибы тут же тесно сидели семьями. Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, пресыщенной горячим солнцем; всюду рябило в глазах от резкого металлического сверкания молодых, красноватых листьев на деревцах; всюду пестрели голубые гроздья журавлиного гороху, золотые чашечки куриной слепоты, наполовину лиловые, наполовину желтые цветы Ивана-да-Марьи; кое-где, возле заброшенных дорожек, на которых следы колес обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженями; слабая тень падала от них косыми четвероугольниками, – другой тени не было нигде. Легкий

ветерок то просыпался, то утихал: подует вдруг прямо в лицо и как будто разыграется, – всё весело зашумит, закивает и задвижется кругом, грациозно закачаются гибкие концы папоротников, – обрадуешься ему… но вот уж он опять замер, и всё опять стихло. Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные, – и утомителен этот непрестанный, кислый и сухой звук. Он идет к неотступному жару полудня; он словно рожден им, словно вызван им из раскаленной земли. Не наткнувшись ни на один выводок, дошли мы, наконец, до новых ссечек. Там недавно срубленные осины печально тянулись по земле, придавив собою и траву и мелкий кустарник; на иных листья, еще зеленые, но уже мертвые, вяло свешивались с неподвижных веток; на других они уже засохли и покоробились. От свежих золотисто-белых щепок, грудами лежавших около ярко-влажных пней, веяло особенным, чрезвычайно приятным, горьким запахом. Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево… Долго не находил я никакой дичи; наконец из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел коростель. Я ударил; он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее, он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня… Я слышал после, как он шептал: «Грех!.. Ах, вот это грех!» Жара заставила нас, наконец, войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой, стройный клен красиво раскинул свои легкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперед по его тщедушному телу, кое-как закутанному в темный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. Наскучив его безмолвием, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом небе. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается *под* вами, что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются, отвесно падают в те стеклянно ясные волны; листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Где-нибудь далеко-далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним

качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плёса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака, и вот вдруг всё это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, – всё заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетанье, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь – вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама, как облака по небу, и как будто вместе с ними медлительной вереницей проходят по душе счастливые воспоминания, и всё вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше и тянет вас самих за собой в ту спокойную, сияющую бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины… – Барин, а барин! – промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом. Я с удивлением приподнялся; до сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил. – Что тебе? – спросил я. – Ну, для чего ты пташку убил? – начал он, глядя мне прямо в лицо. – Как для чего?.. Коростель – это дичь: его есть можно. – Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей убил. – Да ведь ты сам небось гусей или куриц, например, ешь? – Та птица богом определенная для человека, а коростель – птица вольная, лесная. И не он один: много ее, всякой лесной твари, и полевой и речной твари, и болотной и луговой, и верховой и низовой – и грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела… А человеку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлеб – божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов. Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностию, изредка закрывая глаза. – Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать? – спросил я. – У рыбы кровь холодная, – возразил он с уверенностию, – рыба тварь немая. Она не боится, не веселится: рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и кровь не живая… Кровь, – продолжал он, помолчав, – святое дело кровь! Кровь солнышка божия не видит, кровь от свету прячется… великий грех показать свету кровь, великий грех и страх… Ох, великий! Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык, обдуманно-торжественный и странный… Я не слыхал ничего подобного. – Скажи, пожалуйста, Касьян, –

начал я, не спуская глаз с его слегка раскрасневшегося лица, – чем ты промышляешь? Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение. – Живу, как господь велит, – промолвил он наконец, – а чтобы, то есть, промышлять – нет, ничем не промышляю. Неразумен я больно, с мальства; работаю пока мочно, – работник-то я плохой… где мне! Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьев ловлю. – Соловьев ловишь?.. А как же ты говорил, что всякую лесную, и полевую, и прочую там тварь не надо трогать? – Убивать ее не надо, точно; смерть и так свое возьмет. Вот хоть бы Мартын-плотник: жил Мартын-плотник, и не долго жил и помер; жена его теперь убивается о муже, о детках малых… Против смерти ни человеку, ни твари не слукавить. Смерть и не бежит, да и от нее не убежишь; да помогать ей не должно… А я соловушек не убиваю, – сохрани господи! Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье. – Ты в Курск их ловить ходишь? – Хожу я и в Курск и подале хожу, как случится. В болотах ночую да в залесьях, в поле ночую один, во глуши: тут кулички рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут… По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты… Иной соловушко так жалостно поет, сладко… жалостно даже. – И продаешь ты их? – Отдаю добрым людям. – А что ж ты еще делаешь? – Как делаю? – Чем ты занят? Старик помолчал. – Ничем я этак не занят… Работник я плохой. Грамоте, однако, разумею. – Ты грамотный? – Разумею грамоте. Помог господь да добрые люди. – Что, ты семейный человек? – Нетути, бессемейный. – Что так?.. Перемерли, что ли? – Нет, а так: задачи в жизни не вышло. Да это всё под богом, все мы под богом ходим; а справедлив должен быть человек – вот что! Богу угоден, то есть. – И родни у тебя нет? – Есть… да… так… Старик замялся. – Скажи, пожалуйста, – начал я, – мне послышалось, мой кучер у тебя спрашивал, что, дескать, отчего ты не вылечил Мартына? Разве ты умеешь лечить? Кучер твой справедливый человек, – задумчиво отвечал мне Касьян, – а тоже не без греха. Лекаркой меня называют… Какая я лекарка!.. и кто может лечить? Это всё от бога. А есть… есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые травки – божии. Ну, а другие не так: и помогают-то они, а грех; и говорить о них грех. Еще с молитвой разве… Ну, конечно, есть и слова такие… А кто верует – спасется, – прибавил он, понизив голос. – Ты ничего Мартыну не давал? – спросил я. – Поздно узнал, – отвечал старик. – Да что! Кому как на роду написано. Не жилец

был плотник Мартын, не жилец на земле: уж это так. Нет, уж какому человеку не жить на земле, того и солнышко не греет, как другого, и хлебушек тому не впрок, – словно что его отзывает… Да; упокой господь его душу! – Давно вас переселили к нам? – спросил я после небольшого молчания. Касьян встрепенулся. – Нет, недавно: года четыре. При старом барине мы всё жили на своих прежних местах, а вот опека переселила. Старый барин у нас был кроткая душа, смиренник, – царство ему небесное! Ну, опека, конечно, справедливо рассудила; видно, уж так пришлось. – А вы где прежде жили? – Мы с Красивой Мечи. – Далеко это отсюда? – Верст сто. – Что ж, там лучше было? – Лучше… лучше. Там места привольные, речные, гнездо наше; а здесь теснота, сухмень… Здесь мы осиротели. Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь – и, господи боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко видно… Смотришь, смотришь, ах ты, право! Ну, здесь, точно, земля лучше: суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне; да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится. – А что, старик, скажи правду, тебе, чай, хочется на родине-то побывать? – Да, посмотрел бы. А впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, непосед. Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вот как пойдешь, как пойдешь, – подхватил он, возвысив голос, – и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растет; ну, заметишь – сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься – заметишь тоже. Птицы поют небесные… А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот божия-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости… И вот уж я бы туда пошел… Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромен ходил, и в Синбирск – славный град, и в самую Москву – золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых хрестьян, и в городах побывал честных… Ну, вот пошел бы я туда… и вот… и уж и… И не один я, грешный… много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут… да!.. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, – вот оно что… Эти последние слова Касьян произнес скороговоркой, почти невнятно; потом он еще что-то сказал, чего я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное

приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название «юродивца», данное ему Ерофеем. Он потупился, откашлянулся и как будто пришел в себя. – Эко солнышко! – промолвил он вполголоса, – эка благодать, господи! эка теплынь в лесу! Он повел плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки; следующие послышались мне:

А зовут меня Касьяном,
А по прозвищу Блоха…

– «Э! – подумал я, – да он сочиняет…» Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чащу леса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку, лет восьми, в синем сарафанчике, с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить; как говорится, наткнулась на нас, и стояла неподвижно в зеленой чаще орешника, на тенистой лужайке, пугливо посматривая на меня своими черными глазами. Я едва успел разглядеть ее: она тотчас нырнула за дерево. – Аннушка! Аннушка! подь сюда, не бойся, – кликнул старик ласково. – Боюсь, – раздался тонкий голосок. – Не бойся, не бойся, поди ко мне. Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом, – ее детские ножки едва шумели по густой траве, – и вышла из чащи подле самого старика. Это была девушка не восьми лет, как мне показалось сначала, по небольшому ее росту, – но тринадцати или четырнадцати. Всё ее тело было мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый и доверчивый, задумчивый и проницательный, и движенья те же… Касьян окинул ее глазами; она стояла к нему боком. – Что, грибы собирала? – спросил он. – Да, грибы, – отвечала она с робкой улыбкой. – И много нашла? – Много. (Она быстро глянула на него и опять улыбнулась.) – И белые есть? – Есть и белые. – Покажь-ка, покажь… (Она спустила кузов с руки и приподняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были покрыты.) Э! – сказал Касьян, нагнувшись над кузовом, – да какие славные! Ай да Аннушка! – Это твоя дочка, Касьян, что ли? – спросил я. (Лицо Аннушки слабо вспыхнуло.) – Нет, так, сродственница, – проговорил Касьян с притворной небрежностью. – Ну, Аннушка, ступай, – прибавил он тотчас, – ступай с богом. Да смотри… – Да зачем же ей пешком идти? – прервал я его. – Мы бы ее довезли… Аннушка загорелась, как

маков цвет, ухватилась обеими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядела на старика. – Нет, дойдет, – возразил он тем же равнодушно-ленивым голосом. – Что ей?.. Дойдет и так… Ступай. Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за нею вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой. – Зачем ты ее так скоро отослал? – спросил я его. – Я бы у нее грибы купил… – Да вы там, всё равно, дома купите, когда захотите, – отвечал он мне, в первый раз употребляя слово «вы». – А она у тебя прехорошенькая. – Нет… какое… так… – ответил он, как бы нехотя, и с того же мгновенья впал в прежнюю молчаливость. Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на ссечки. Притом же и жара немного спала; но неудача, или, как говорят у нас, незадача моя продолжалась, и я с одним коростелем и с новой осью вернулся в выселки. Уже подъезжая ко двору, Касьян вдруг обернулся ко мне. – Барин, а барин, – заговорил он, – ведь я виноват перед тобой; ведь это я тебе дичь-то всю отвел. – Как так? – Да уж это я знаю. А вот и ученый пес у тебя и хороший, а ничего не смог. Подумаешь, люди-то, люди, а? Вот и зверь, а что из него сделали? Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности «заговорить» дичь и потому ничего не отвечал ему. Притом же мы тотчас повернули в ворота. В избе Аннушки не было; она уже успела прийти и оставить кузов с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув ее сперва строгой и несправедливой оценке; а через час я выехал, оставив Касьяну немного денег, которые он сперва было не принял, но потом, подумав и подержав их на ладони, положил за пазуху. В течение этого часа он не произнес почти ни одного слова; он по-прежнему стоял, прислонясь к воротам, не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной. Я, как только вернулся, успел заметить, что Ерофей мой снова находился в сумрачном расположении духа… И в самом деле, ничего съестного он в деревне не нашел, водопой для лошадей был плохой. Мы выехали. С неудовольствием, выражавшимся даже на его затылке, сидел он на козлах и страх желал заговорить со мной, но, в ожидании первого моего вопроса, ограничивался легким ворчаньем вполголоса и поучительными, а иногда язвительными речами, обращенными к лошадям. «Деревня! – бормотал он, – а еще деревня! Спросил хошь квасу – и квасу нет… Ах ты, господи! А вода – просто тьфу! (Он плюнул вслух.) Ни

огурцов, ни квасу – ничего. Ну ты, – прибавил он громко, обращаясь к правой пристяжной, – я тебя знаю, потворница этакая! Любишь себе потворствовать, небось… (И он ударил ее кнутом.) Совсем отлукавилась лошадь, а ведь какой прежде согласный был живот… Ну-ну, оглядывай*си*!..» – Скажи, пожалуйста, Ерофей, – заговорил я, – что за человек этот Касьян? Ерофей не скоро мне отвечал: он вообще человек был обдумывающий и неторопливый; но я тотчас мог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил. – Блоха-то? – заговорил он наконец, передернув вожжами. – Чудной человек: как есть юродивец, такого чудно́го человека и нескоро найдешь другого. Ведь, например, ведь он ни дать ни взять наш вот саврасый: от рук отбился тоже… от работы, то есть. Ну, конечно, что он за работник, – в чем душа держится, – ну, а нес-таки… Ведь он сызмальства так. Сперва он со дядьями со своими в извоз ходил: они у него были троечные; ну, а потом, знать, наскучило – бросил. Стал дома жить, да и дома-то не усиживался: такой беспокойный, – уж точно блоха. Барин ему попался, спасибо, добрый – не принуждал. Вот он так с тех пор всё и болтается, что овца беспредельная. И ведь такой удивительный, бог его знает: то молчит, как пень, то вдруг заговорит, – а что заговорит, бог его знает. Разве это манер? Это не манер. Несообразный человек, как есть. Поет, однако, хорошо. Этак важно – ничего, ничего. – А что, он лечит, точно? – Какое лечит!.. Ну, где ему! Таковский он человек. Меня, однако, от золотухи вылечил… Где ему! глупый человек, как есть, – прибавил он, помолчав. – Ты его давно знаешь? – Давно. Мы им по Сычовке соседи, на Красивой-то на Мечи. – А что эта, нам в лесу попалась девушка, Аннушка, что, она ему родня? Ерофей посмотрел на меня через плечо и осклабился во весь рот. – Хе!.. да, сродни. Она сирота: матери у ней нету, да и неизвестно, кто ее мать-то была. Ну, а должно быть, что сродственница: больно на него смахивает… Ну, живет у него. Вострая девка, неча сказать; хорошая девка, и он, старый, в ней души не чает: девка хорошая. Да ведь он, вы вот не поверите, а ведь он, пожалуй, Аннушку-то свою грамоте учить вздумает. Ей-ей, от него это станется: уж такой он человек неабнакавенный. Непостоянный такой, несоразмерный даже… Э-э-э! – вдруг перервал самого себя мой кучер и, остановив лошадей, нагнулся набок и принялся нюхать воздух. – Никак гарью пахнет? Так и есть! Уж эти мне новые оси… А, кажется, на что мазал… Пойти водицы добыть: вот кстати и прудик. И Ерофей медлительно слез с облучка, отвязал ведерку, пошел к пруду и, вернувшись, не без удовольствия слушал, как шипела втулка колеса, внезапно охваченная водою… Раз шесть приходилось ему на каких-нибудь

десяти верстах обливать разгоряченную ось, и уже совсем завечерело, когда мы возвратились домой.

Бурмистр

Верстах в пятнадцати от моего именья живет один мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлыч Пеночкин. Дичи у него в поместье водится много, дом построен по плану французского архитектора, люди одеты по-английски, обеды задает он отличные, принимает гостей ласково, а все-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный, воспитанье получил, как водится, отличное, служил, в высшем обществе потерся, а теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлыч, говоря собственными его словами, строг, но справедлив, о благе подданных своих печется и наказывает их – для их же блага. «С ними надобно обращаться, как с детьми, – говорит он в таком случае, – невежество, mon cher; il faut prendre cela en considération». Сам же, в случае так называемой печальной необходимости, резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит, но более тычет рукою прямо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой», или: «Что с тобою, друг мой, опомнись», – причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Роста он небольшого, сложен щеголевато, собою весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит; с его румяных губ и щек так и пышет здоровьем. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые, карие глаза. Одевается он отлично и со вкусом; выписывает французские книги, рисунки и газеты, но до чтения небольшой охотник: «Вечного жида» едва осилил. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлыч считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии; дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры. Он удивительно хорошо себя держит, осторожен, как кошка, и ни в какую историю замешан отроду не бывал, хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгает – скомпрометироваться боится; зато в веселый час объявляет себя поклонником Эпикура, хотя вообще о философии отзывается дурно, называя ее туманной пищей германских умов, а иногда и просто чепухой. Музыку он тоже любит; за картами поет сквозь зубы, но с чувством; из Лючии и Сомнамбулы тоже иное помнит, но что-то всё высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновенном; даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят, но и самим себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Павлыча

посматривают, правда, что-то исподлобья, – но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь. Аркадий Павлыч говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздушенные усы; также употребляет много французских выражений, как-то: «Mais c'est impayable!», «Mais comment donc!» и пр. Со всем тем я, по крайней мере, не слишком охотно его посещаю и, если бы не тетерева и не куропатки, вероятно, совершенно бы с ним раззнакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме; даже комфорт вас не радует, и всякий раз, вечером, когда появится перед вами завитый камердинер в голубой ливрее с гербовыми пуговицами и начнет подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно широкие скулы и невероятно тупой нос молодого дюжего парня, только что взятого барином от сохи, но уже успевшего в десяти местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый кафтан, – вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись опасности лишиться вместе с сапогом и собственной вашей ноги вплоть до самого вертлюга… Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Павлычу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повел к себе в кабинет. Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца всмятку, масло, мед, сыр и пр. Два камердинера, в чистых белых перчатках, быстро и молча предупреждали наши малейшие желания. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Павлыче были широкие шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фес с синей кистью и китайские желтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлыч налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился. – Отчего вино не нагрето? – спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров. Камердинер смешался, остановился, как вкопанный, и побледнел. – Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? – спокойно продолжал Аркадий Павлыч, не спуская с него глаз. Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья. – Pardon, mon cher, – промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. – Ну,

ступай, – прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил. Вошел человек, толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами. – Насчет Федора… распорядиться, – проговорил Аркадий Павлыч вполголоса и с совершенным самообладанием. – Слушаю-с, – отвечал толстый и вышел. – Voilà, mon cher, les désagréments de la campagne, – весело заметил Аркадий Павлыч. – Да куда же вы? Останьтесь, посидите еще немного. – Нет, – отвечал я, – мне пора. – Всё на охоту! Ох, уж эти мне охотники! Да вы куда теперь едете? – За сорок верст отсюда, в Рябово. – В Рябово? Ах, боже мой, да в таком случае я с нами поеду. Рябово всего в пяти верстах от моей Шипиловки, а я таки давно в Шипиловке не бывал: всё времени улучить не мог. Вот как кстати пришлось: вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. Ce sera charmant. Мы вместе поужинаем, – мы возьмем с собою повара, – вы у меня переночуете. Прекрасно! прекрасно! – прибавил он, не дождавшись моего ответа. – C'est arrangé… Эй, кто там? Коляску нам велите заложить, да поскорей. Вы в Шипиловке не бывали? Я бы посовестился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы и в Рябове в сенном бы сарае ночевали… Едем, едем! И Аркадий Павлыч запел какой-то французский романс. – Ведь вы, может быть, не знаете, – продолжал он, покачиваясь на обеих ногах, – у меня там мужики на оброке. Конституция – что будешь делать? Однако оброк мне платят исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, да земли мало! Я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Впрочем, c'est leur affaire. Бурмистр у меня там молодец, une forte tête, государственный человек! Вы увидите… Как, право, это хорошо пришлось! Делать было нечего. Вместо девяти часов утра мы выехали в два. Охотники поймут мое нетерпенье. Аркадий Павлыч любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несессеров, что иному бережливому и владеющему собою немцу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлыч держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно; только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок. Аркадий Павлыч, при виде падения доморощенного Карема, испугался не на шутку и тотчас велел спросить: целы ли у него руки? Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Со всем тем, ехали мы довольно долго; я сидел в одной коляске с Аркадием Павлычем и под конец путешествия

почувствовал тоску смертельную, тем более, что в течение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся и начинал уже либеральничать. Наконец мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку; как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог и потому скрепя сердце покорился своей участи. Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста (сын бурмистра), дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке нараспашку. «А где же Софрон?» – спросил его Аркадий Павлыч. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлыч», – потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Софрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Ну, ступай за нами», – сказал Аркадий Павлыч. Староста отвел из приличия лошадь в сторону, взвалился на нее и пустился рысцой за коляской, держа шапку в руке. Мы поехали по деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу; они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе; но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки (дело было летом) и приподнялись, как бы ожидая приказаний. Аркадий Павлыч милостиво им поклонился. Тревожное волнение видимо распространялось по селу. Бабы в клетчатых паневах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак; хромой старик с бородой, начинавшейся под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь, в темные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню; один бойким петух с черной грудью, похожей на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался было на дороге и уже совсем собрался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистра стояла в стороне от других, посреди густого зеленого конопляника. Мы остановились перед воротами Г-н Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлыч дал ей нацеловаться вволю и взошел на крыльцо. В сенях, в темном углу, стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке

подойти не дерзнула. В так называемой холодной избе – из сеней направо – уже возились две другие бабы; они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одеревенелые тулупы, масленые горшки, люльку с кучей тряпок и пестрым ребенком, подметали банными вениками сор. Аркадий Павлыч выслал их ион и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжелых сапогов. Между тем Аркадий Павлыч расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтан застегивал. Он стоял у дверей и то и дело сторонился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сенях втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом: вошел бурмистр. Этот, по словам Аркадия Павлыча, государственный человек был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Заметим кстати, что с тех пор, как Русь стоит, не бывало еще на ней примера раздобревшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды; иной весь свой век носил бородку жидкую, клином, – вдруг, смотришь, обложился кругом словно сияньем, – откуда волос берется! Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял: и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало. – Ах вы, отцы наши, милостивцы вы наши, – заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут, – насилу-то изволили пожаловать!.. Ручку, батюшка, ручку, – прибавил он, уже загодя протягивая губы. Аркадий Павлыч удовлетворил его желание. – Ну, что, брат Софрон, каково у тебя дела идут? – спросил он ласковым голосом. – Ах вы, отцы наши, – воскликнул Софрон, – да как же им худо идти, делам-то! Да ведь вы, наши отцы, вы, милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней. Слава тебе, господи, Аркадий Павлыч, слава тебе, господи! Благополучно обстоит всё милостью вашей. Тут Софрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлеченный порывом чувства (притом же и хмель брал свое), в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего: – Ах вы, отцы наши, милостивцы… и… уж что! Ей-богу, совсем дураком от радости стал… Ей-богу, смотрю да не верю… Ах вы, отцы наши!.. Аркадий Павлыч глянул на меня, усмехнулся и спросил: «N'est-ce pas que c'est touchant?». – Да, батюшка, Аркадий Павлыч, – продолжал неугомонный бурмистр, – как же вы это? Сокрушаете

вы меня совсем, батюшка; известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где же вы ночку-то проведете? Ведь тут нечистота, сор… – Ничего, Софрон, ничего, – с улыбкой отвечал Аркадий Павлыч, – здесь хорошо. – Да ведь, отцы вы наши, – для кого хорошо? Для нашего брата, мужика, хорошо; а ведь вы… ах вы, отцы мои, милостивцы, ах вы, отцы мои!.. Простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу одурел вовсе. Между тем подали ужин; Аркадий Павлыч начал кушать. Сына своего старик прогнал – дескать, духоты напущаешь. – Ну, что, размежевался, старина? – спросил г-н Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал. – Размежевались, батюшка, всё твоею милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались… поломались, отец, точно. Требовали… требовали… и бог знает, чего требовали; да ведь дурачье, батюшка, народ глупый. А мы, батюшка, милостью твоею благодарность заявили и Миколая Миколаича посредственника удовлетворили; всё по твоему приказу действовали, батюшка; как ты изволил приказать, так мы и действовали, и с ведома Егора Дмитрича всё действовали. – Егор мне докладывал, – важно заметил Аркадий Павлыч. – Как же, батюшка, Егор Дмитрич, как же. – Ну и, стало быть, вы теперь довольны? Софрон только того и ждал. – Ах вы, отцы наши, милостивцы наши! – запел он опять… – Да помилуйте вы меня… да ведь мы за вас, отцы наши, денно и нощно господу богу молимся… Земли, конечно, маловато… Пеночкин перебил его: – Ну, хорошо, хорошо, Софрон, знаю, ты мне усердный слуга… А что, как умолот? Софрон вздохнул. – Ну, отцы вы наши, умолот-то не больно хорош. Да что, батюшка Аркадий Павлыч, позвольте вам доложить, дельцо какое вышло. (Тут он приблизился, разводя руками, к господину Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз.) Мертвое тело на нашей земле оказалось. – Как так? – И сам ума не приложу, батюшка, отцы вы наши: видно, враг попутал. Да, благо, подле чужой межи оказалось; а только, что греха таить, на нашей земле. Я его тотчас на чужой-то клин и приказал стащить, пока можно было, да караул приставил и своим заказал: молчать! – говорю. А становому на всякой случай объяснил: вот какие порядки, говорю; да чайком его, да благодарность… Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее; а ведь мертвое тело, что двести рублев – как калач. Г-н Пеночкин много смеялся уловке своего бурмистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой: «Quel gaillard, a?» Между тем на дворе совсем стемнело; Аркадий Павлыч велел со стола прибирать и сена принести. Камердинер постлал нам простыни, разложил подушки; мы легли. Софрон ушел к себе, получив приказание на следующий день. Аркадий

Павлыч, засыпая, еще потолковал немного об отличных качествах русского мужика и тут же заметил мне, что со времени управления Софрона за Шипиловскими крестьянами не водится ни гроша недоимки… Сторож заколотил в доску; ребенок, видно, еще не успевший проникнуться чувством должного самоотверженья, запищал где-то в избе… Мы заснули. На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлыч желал показать мне свое именье и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека – Софрона. Явился бурмистр. На нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчерашнего, глядел зорко и пристально в глаза барину, отвечал складно и дельно. Мы вместе с ним отправились на гумно. Софронов сын, трехаршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошел за нами, да еще присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и престранным выражением лица: точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился да с тех пор уж и не пришел в себя. Мы осмотрели гумно, ригу, овины, саран, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя́, конопляники; всё было действительно в отличном порядке, одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Софрон заботился еще о приятном: все канавы обсадил ракитником, между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал, на ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком, к кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона и под фронтоном белилами надписал: «Пастроен вселе Шипилофке втысеча восем Сод саракавом году. Сей скотный дфор». – Аркадий Павлыч разнежился совершенно, пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состоянья, причем, однако, заметил, что барщина для помещиков выгоднее, – да мало ли чего нет!.. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготовлять и пр. Софрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павлыча ни отцом, ни милостивцем и всё напирал на то, что земли-де у них маловато, прикупить бы не мешало. «Что ж, купите, – говорил Аркадий Павлыч, – на мое имя, я не прочь». На эти слова Софрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал «Однако теперь бы не мешало съездить в лес», – заметил г-н Пеночкин. Тотчас привели нам верховых лошадей; мы поехали в лес, или, как у нас говорится, в «заказ». В этом «заказе» нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадий Павлыч похвалил

Софрона и потрепал его по плечу. Г-н Пеночкин придерживался насчет лесоводства русских понятий и тут же рассказал мне презабавный, по его словам, случай, как один шутник-помещик вразумил своего лесника, выдрав у него около половины бороды, в доказательство того, что от подрубки лес гуще не вырастает… Впрочем, в других отношениях и Софрон и Аркадий Павлыч – оба не чуждались нововведений. По возвращении в деревню бурмистр повел нас посмотреть веялку, недавно выписанную им из Москвы. Веялка, точно, действовала хорошо, но если бы Софрон знал, какая неприятность ожидала и его и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома. Вот что случилось. Выходя из сарая, увидали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояло на коленках два мужика: один – старик лет шестидесяти, другой – малый лет двадцати, оба в замашных заплатанных рубахах, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земский Федосеич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, если б мы замешкались в сарае, но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разинутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлыч нахмурился, закусил губу и подошел к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги. – Что вам надобно? о чем вы просите? – спросил он строгим голосом и несколько в нос. (Мужики взглянули друг на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорей дышать стали.) – Ну, что же? – продолжал Аркадий Павлыч и тотчас же обратился к Софрону. – Из какой семьи? – Из Тоболеевой семьи, – медленно отвечал бурмистр. – Ну, что же вы? – заговорил опять г. Пеночкин, – языков у вас нет, что ли? Сказывай ты, чего тебе надобно? – прибавил он, качнув головой на старика. – Да не бойся, дурак. Старик вытянул свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы, сиплым голосом произнес: «Заступись, государь!» – и снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлыч с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги. – Что такое? На кого ты жалуешься? – Помилуй, государь! Дай вздохнуть… Замучены совсем. (Старик говорил с трудом.) – Кто тебя замучил? – Да Софрон Яковлич, батюшка. Аркадий Павлыч помолчал. – Как тебя зовут? – Антипом, батюшка. – А это кто? – А сынок мой, батюшка. Аркадий Павлыч помолчал опять и усами повел. – Ну, так чем же он тебя замучил? – заговорил он, глядя на старика сквозь усы. – Батюшка, разорил вконец. Двух сыновей, батюшка, без очереди в некруты отдал, а теперя и третьего отнимает. Вчера, батюшка,

последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил – вон его милость. (Он указал на старосту.) – Гм! – произнес Аркадий Павлыч. – Не дай вконец разориться, кормилец. Г-н Пеночкин нахмурился. – Что же это, однако, значит? – спросил он бурмистра вполголоса и с недовольным видом. Пьяный человек-*с*, – отвечал бурмистр, в первый раз употребляя «слово-ер», – неработящий. Из недоимки не выходит вот уж пятый год-с. – Софрон Яковлич за меня недоимку взнес, батюшка, – продолжал старик, – вот пятый годочек пошел, как взнес, а как взнес – в кабалу меня и забрал, батюшка, да вот и… – А отчего недоимка за тобой завелась? – грозно спросил г. Пеночкин, (Старик понурил голову.) – Чай, пьянствовать любишь, по кабакам шататься? (Старик разинул было рот.) Знаю я вас, – с запальчивостью продолжал Аркадий Павлыч, – ваше дело пить да на печи лежать, а хороший мужик за вас отвечай. – И грубиян тоже, – ввернул бурмистр в господскую речь. – Ну, уж это само собою разумеется. Это всегда так бывает; это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется. – Батюшка, Аркадий Павлыч, – с отчаяньем заговорил старик, – помилуй, заступись, – какой я грубиян? Как перед господом богом говорю, невмоготу приходится. Невзлюбил меня Софрон Яковлич, за что невзлюбил – господь ему судья! Разоряет вконец, батюшка… Последнего вот сыночка… и того… (На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка.) Помилуй, государь, заступись… – Да и не нас одних, – начал было молодой мужик… Аркадий Павлыч вдруг вспыхнул: – А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи… Это что такое? Молчать, говорят тебе! молчать!.. Ах, боже мой! да это просто бунт. Нет, брат, у меня бунтовать не советую… у меня… (Аркадий Павлыч шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии, отвернулся и положил руки в карманы.) Je vous demande bien pardon, mon cher, – сказал он с принужденной улыбкой, значительно понизив голос. – C'est le mauvais côté de la médaille… Ну, хорошо, хорошо, – продолжал он, не глядя на мужиков, – я прикажу… хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались.) Ну, да ведь я сказал вам… хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорят вам. Аркадий Павлыч обернулся к ним спиной. «Вечно неудовольствия», – проговорил он сквозь зубы и пошел большими шагами домой. Софрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи. Просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, восвояси. Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с Анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на

охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Софрона. Заговорил я с Анпадистом о Шипиловских крестьянах, о г. Пеночкине, спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра. – Софрона-то Яковлича?.. вона! – А что он за человек? – Собака, а не человек: такой собаки до самого Курска не найдешь. – А что? – Да ведь Шипиловка только что числится за тем, как бишь его, за Пенкиным-то; ведь не он ей владеет: Софрон владеет. – Неужто? – Как своим добром владеет. Крестьяне ему кругом должны; работают на него словно батраки: кого с обозом посылает, кого куды… затормошил совсем. – Земли у них, кажется, немного? – Немного? Он у одних хлыновских восемьдесят десятин нанимает да у наших сто двадцать; вот те и целых полтораста десятин. Да он не одной землей промышляет: и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем… Умен, больно умен, и богат же, бестия! Да вот чем плох – дерется. Зверь – не человек; сказано: собака, пес, как есть пес. – Да что ж они на него не жалуются? – Экста! Барину-то что за нужда! недоимок не бывает, так ему что? Да, поди ты, – прибавил он после небольшого молчания, – пожалуйся. Нет, он тебя… да, поди-ка… Нет уж, он тебя вот как, того… Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел. – Ну, – промолвил Анпадист, – заест он его теперь; заест человека совсем. Староста теперь его забьет. Экой бесталанный, подумаешь, бедняга! И за что терпит… На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то, невтерпеж, знать, пришлось… Велико дело! Вот он его, Антипа-то, клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пес, собака, прости, господи, мое прегрешенье, знает, на кого налечь. Стариков-то, что побогаче да посемейнее, не трогает, лысый чёрт, а тут вот и расходился! Ведь он Антиповых-то сыновей без очереди в некруты отдал, мошенник беспардонный, пес, прости, господи, мое прегрешенье! Мы отправились на охоту.

Контора

Дело было осенью. Уже несколько часов бродил я с ружьем по полям и, вероятно, прежде вечера не вернулся бы в постоялый двор на большой Курской дороге, где ожидала меня моя тройка, если б чрезвычайно мелкий и холодный дождь, который с самого утра, не хуже старой девки, неугомонно и безжалостно приставал ко мне, не заставил меня, наконец, искать где-нибудь поблизости хотя временного убежища. Пока я еще соображал, в какую сторону пойти, глазам моим внезапно представился низкий шалаш возле поля, засеянного горохом. Я подошел к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидал старика до того дряхлого, что мне тотчас же вспомнился тот умирающий козел, которого Робинзон нашел в одной из пещер своего острова. Старик сидел на корточках, жмурил свои потемневшие маленькие глаза и торопливо, но осторожно, наподобие зайца (у бедняка не было ни одного зуба), жевал сухую и твердую горошину, беспрестанно перекатывая ее со стороны на сторону. Он до того погрузился в свое занятие, что не заметил моего прихода. – Дедушка! а дедушка! – проговорил я. Он перестал жевать, высоко поднял брови и с усилием открыл глаза. – Чего? – прошамшил он сиплым голосом. – Где тут деревня близко? – спросил я. Старик опять пустился жевать. Он меня не расслушал. Я повторил свой вопрос громче прежнего. – Деревня?.. да тебе что надо? – А вот от дождя укрыться. – Чего? – От дождя укрыться. – Да! (Он почесал свой загорелый затылок.) Ну, ты, тово, ступай, – заговорил он вдруг, беспорядочно размахивая руками, – во… вот, как мимо леска пойдешь, – вот как пойдешь – тут те и будет дорога; ты ее-то брось, дорогу-то, да и всё направо забирай, всё забирай, всё забирай, всё забирай… Ну, там те и будет Ананьево. А то и в Ситовку пройдешь. Я с трудом понимал старика. Усы ему мешали, да и язык плохо повиновался. – Да ты откуда? – спросил я его. – Чего? – Откуда ты? – Из Ананьева. – Что ж ты тут делаешь? – Чего? – Что ты делаешь тут? – А сторожем сижу. – Да что ты стережешь? – А горох. Я не мог не рассмеяться. – Да помилуй, сколько тебе лет? – А бог знает. – Чай, ты плохо видишь? – Чего? – Видишь плохо, чай? – Плохо. Бывает так, что ничего не слышу. – Так где ж тебе сторожем-то быть, помилуй? – А про то старшие знают. «Старшие!» – подумал я и не без сожаления поглядел на бедного старика. Он ощупался, достал из-за пазухи кусок черствого хлеба и принялся сосать, как дитя, с усилием втягивая и без того впалые щеки. Я пошел в направлении леска, повернул направо, забирал, всё забирал, как мне советовал

старик, и добрался, наконец, до большого села с каменной церковью в новом вкусе, то есть с колоннами, и обширным господским домом, тоже с колоннами. Еще издали, сквозь частую сетку дождя, заметил я избу с тесовой крышей и двумя трубами, повыше других, по всей вероятности, жилище старосты, куда я и направил шаги свои, в надежде найти у него самовар, чай, сахар и не совершенно кислые сливки. В сопровождении моей продрогшей собаки взошел я на крылечко, в сени, отворил дверь, но, вместо обыкновенных принадлежностей избы, увидал несколько столов, заваленных бумагами, два красных шкафа, забрызганные чернильницы, оловянные песочницы в пуд весу, длиннейшие перья и прочее. На одном из столов сидел малый лет двадцати с пухлым и болезненным лицом, крошечными глазками, жирным лбом и бесконечными висками. Одет он был как следует, в серый нанковый кафтан с глянцем на воротнике и на желудке. – Чего вам надобно? – спросил он меня, дернув кверху голового, как лошадь, которая не ожидала, что ее возьмут за морду. – Здесь приказчик живет… или… – Здесь главная господская контора, – перебил он меня. – Я вот дежурным сижу… Разве вы вывеску не видали? На то вывеска прибита. – А где бы тут обсушиться? Самовар у кого-нибудь на деревне есть? – Как не быть самоваров, – с важностью возразил малый в сером кафтане, – ступайте к отцу Тимофею, а не то в дворовую избу, а не то к Назару Тарасычу, а не то к Аграфене-птишнице. – С кем ты это говоришь, болван ты этакой? спать не даешь, болван! – раздался голос из соседней комнаты. – А вот господин какой-то зашел, спрашивает, где бы обсушиться. – Какой там господин? – А не знаю. С собакой и ружьем. В соседней комнате заскрипела кровать. Дверь отворилась, и вошел человек лет пятидесяти, толстый, низкого росту, с бычачьей шеей, глазами навыкате, необыкновенно круглыми щеками и с лоском по всему лицу. – Чего вам угодно? – спросил он меня. – Обсушиться. – Здесь не место. – Я не знал, что здесь контора; а впрочем, я готов заплатить… – Оно, пожалуй, можно и здесь, – возразил толстяк, – вот, не угодно ли сюда. (Он повел меня в другую комнату, только не в ту, из которой вышел.) Хорошо ли здесь вам будет? – Хорошо… А нельзя ли чаю со сливками? – Извольте, сейчас. Вы пока извольте раздеться и отдохнуть, а чай сею минутою будет готов. – А чье это именье? – Госпожи Лосняковой, Елены Николаевны. Он вышел. Я оглянулся. Вдоль перегородки, отделявшей мою комнату от конторы, стоял огромный кожаный диван; два стула, тоже кожаных, с высочайшими спинками, торчали по обеим сторонам единственного окна, выходившего на улицу. На стенах, оклеенных зелеными обоями с розовыми

разводами, висели три огромные картины, писанные масляными красками. На одной изображена была легавая собака с голубым ошейником и надписью: «Вот моя отрада»; у ног собаки текла река, а на противоположном берегу реки под сосною сидел заяц непомерной величины, с приподнятым ухом. На другой картине два старика ели арбуз; из-за арбуза виднелся в отдалении греческий портик с надписью: «Храм Удовлетворенья». На третьей картине представлена была полунагая женщина в лежачем положении en raccourci, с красными коленями и очень толстыми пятками. Собака моя, нимало не медля, с сверхъестественными усилиями залезла под диван и, по-видимому, нашла там много пыли, потому что расчихалась страшно. Я подошел к окну. Через улицу от господского дома до конторы, в косвенном направлении, лежали доски: предосторожность весьма полезная, потому что кругом, благодаря нашей черноземной почве и продолжительному дождю, грязь была страшная. Около господской усадьбы, стоявшей к улице задом, происходило, что обыкновенно происходит около господских усадеб: девки в полинялых ситцевых платьях шныряли взад и вперед; дворовые люди брели по грязи, останавливались и задумчиво чесали свои спины; привязанная лошадь десятского лениво махала хвостом и, высоко задравши морду, глодала забор; курицы кудахтали; чахоточные индейки беспрестанно перекликивались. На крылечке темного и гнилого строения, вероятно бани, сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс:

О – я фа пасатыню удаляюсь
Ата прекарасаных седешенеха мест…
и проч.

Толстяк вошел ко мне в комнату. – Вот вам чай несут, – сказал он мне с приятной улыбкой. Малый в сером кафтане, конторский дежурный, расположил на старом ломберном столе самовар, чайник, стакан с разбитым блюдечком, горшок сливок и связку болховских котёлок, твердых, как кремень. Толстяк вышел. – Что это, – спросил я дежурного, – приказчик? – Никак нет-с: был главным кассиром-с, а теперь в главные конторщики произведен. – Да разве у вас нет приказчиков? – Никак нет-с. Есть бурмистер, Михайла Викулов, а приказчика нету. – Так управляющий есть? – Как же, есть: немец, Линдамандол, Карло Карлыч – только он не распоряжается. – Кто ж у вас распоряжается? – Сама барыня. – Вот как!.. Что ж, у вас в конторе много народу сидит? Малый задумался. – Шесть человек сидит. – Кто да кто? – спросил я. – А вот кто: сначала будет Василий Николаевич, главный кассир; а то Петр конторщик, Петров брат Иван конторщик, другой Иван конторщик; Коскенкин Наркизов,

тоже конторщик, я вот, – да всех и не перечтешь. – Чай, у вашей барыни дворни много? – Нет, не то чтобы много… – Однако сколько? – Человек, пожалуй что, полтораста набежит. Мы оба помолчали. – Ну что ж, ты хорошо пишешь? – начал я опять. Малый улыбнулся во весь рот, кивнул головой, сходил в контору и принес исписанный листок. – Вот мое писанье, – промолвил он, не переставая улыбаться. Я посмотрел; на четвертушке сероватой бумаги красивым и крупным почерком был написан следующий

ПРИКАЗ

ОТ ГЛАВНОЙ ГОСПОДСКОЙ ДОМОВОЙ АНАНЬЕВСКОЙ КОНТОРЫ БУРМИСТРУ МИХАЙЛЕ ВИКУЛОВУ, № 209.

«Приказывается тебе немедленно по получении сего разыскать: кто в прошлую ночь, в пьяном виде и с неприличными песнями, прошел по Аглицкому саду и гувернантку мадам Энжени француженку разбудил и обеспокоил? и чего сторожа глядели, и кто сторожем в саду сидел и таковые беспорядки допустил? О всем вышеписанном приказывается тебе в подробности разведать и немедленно конторе донести.

Главный конторщик Николай Хвостов».

К приказу была приложена огромная гербовая печать с надписью: «Печать главной господской ананьевской конторы», а внизу стояла приписка: «В точности исполнить. Елена Лоснякова». – Это сама барыня приписала, что ли? – спросил я. – Как же-с, сами; оне всегда сами. А то и приказ девствовать не может. – Ну, что ж, вы бурмистру пошлете этот приказ? – Нет-с. Сам придет да прочитает. То есть ему прочтут; он ведь грамоте у нас не знает. (Дежурный опять помолчал.) А что-с, – прибавил он, ухмыляясь, – ведь хорошо написано-с? – Хорошо. – Сочинял-то, признаться, не я. На то Коскенкин мастер. – Как?.. Разве у вас приказы сперва сочиняются? – А то как же-с? Не прямо же набело писать. – А сколько ты жалованья получаешь? – спросил я. – Тридцать пять рублев и пять рублев на сапоги. – И ты доволен? – Известно, доволен. В контору-то у нас не всякий попадает. Мне-то, признаться, сам бог велел: у меня дядюшка дворецким служит. – И хорошо тебе? – Хорошо-с. Правду сказать, – продолжал он со вздохом, – у купцов, например, то есть, нашему брату лучше. У купцов нашему брату оченно хорошо. Вот к нам

вечор приехал купец из Венёва, – так мне его работник сказывал… Хорошо, неча сказать, хорошо. – А что, разве купцы жалованья больше назначают? – Сохрани бог! Да он тебя в шею прогонит, коли ты у него жалованья запросишь. Нет, ты у купца живи на веру да на страх. Он тебя и кормит, и поит, и одевает, и всё. Угодишь ему – еще больше даст… Что твое жалованье! не надо его совсем… И живет-то купец по простоте, по-русскому, по-нашинскому: поедешь с ним в дорогу, – он пьет чай, и ты пей чай; что он кушает, то и ты кушай. Купец… как можно: купец не то, что барин. Купец не блажит; ну, осерчает – побьет, да и дело с концом. Не мозжит, не шпыняет… А с барином беда! Всё не по нем: и то нехорошо, и тем не угодил. Подашь ему стакан с водой или кушанье – «Ах, вода воняет! ах, кушанье воняет!» Вынесешь, за дверью постоишь да принесешь опять – «Ну вот, теперь хорошо, ну вот, теперь не воняет». А уж барыни, скажу вам, а уж барыни что!.. или вот еще барышни!.. – Федюшка! – раздался голос толстяка в конторе. Дежурный проворно вышел. Я допил стакан чаю, лег на диван и заснул. Я спал часа два. Проснувшись, я хотел было подняться, да лень одолела; я закрыл глаза, но не заснул опять. За перегородкой в конторе тихонько разговаривали. Я невольно стал прислушиваться. – Тэк-с, тэк-с, Николай Еремеич, – говорил один голос, – тэк-с. Эвтого нельзя в расчет не принять-с; нельзя-с, точно… Гм! (Говорящий кашлянул.) – Уж поверьте мне, Гаврила Антоныч, – возразил голос толстяка, – уж мне ли не знать здешних порядков, сами посудите. – Кому же и знать, Николай Еремеич: вы здесь, можно сказать, первое лицо-с. Ну, так как же-с? – продолжал незнакомый мне голос, – чем же мы порешим, Николай Еремеич? Позвольте полюбопытствовать. – Да чем порешим, Гаврила Антоныч? От вас, так сказать, дело зависит: вы, кажется, не охотствуете. – Помилуйте, Николай Еремеич, что вы-с? Наше дело торговое, купецкое; наше дело купить. Мы на том стоим. Николай Еремеич, можно сказать. – Восемь рублей, – проговорил с расстановкою толстяк. Послышался вздох. – Николай Еремеич, больно много просить изволите. – Нельзя, Гаврила Антоныч, иначе поступить; как перед господом богом говорю, нельзя. Наступило молчание. Я тихонько приподнялся и посмотрел сквозь трещину в перегородке. Толстяк сидел ко мне спиной. К нему лицом сидел купец, лет сорока, сухощавый и бледный, словно вымазанный постным маслом. Он беспрестанно шевелил у себя в бороде и очень проворно моргал глазами и губами подергивал. – Удивительные, можно сказать, зеленя́ в нынешнем году-с, – заговорил он опять, – я всё ехал да любовался. От самого Воронежа удивительные пошли, первый сорт-с, можно сказать. – Точно, зеленя́ недурны, – отвечал

главный конторщик, – да ведь вы знаете, Гаврила Антоныч, осень всклочет, а как весна захочет. – Действительно так, Николай Еремеич: всё в божьей воле; совершенную истину изволили сказать… А никак ваш гость-то проснулся-с. Толстяк обернулся… прислушался… – Нет, спит. А впрочем, можно, того… Он подошел к двери. – Нет, спит, – повторил он и вернулся на место. – Ну, так как же, Николай Еремеич? – начал опять купец, – надо дельце-то покончить… Так уж и быть, Николай Еремеич, так уж и быть, – продолжал он, беспрерывно моргая, – две сереньких и беленькую вашей милости, а там (он кивнул головой на барский двор) шесть с полтиною. По рукам, что ли? – Четыре сереньких, – отвечал приказчик. – Ну, три! – Четыре сереньких без беленькой. – Три, Николай Еремеич. – С половиной три и уж ни копейки меньше. – Три, Николай Еремеич. – И не говорите, Гаврила Антоныч. – Экой несговорчивый какой, – пробормотал купец. – Этак я лучше сам с барыней покончу. – Как хотите, – отвечал толстяк, – давно бы так. Что, в самом деле, вам беспокоиться?.. И гораздо лучше! – Ну, полно, полно, Николай Еремеич. Уж сейчас и рассердился! Я ведь эфто так сказал. – Нет, что ж в самом деле… – Полно же, говорят… Говорят, пошутил. Ну, возьми свои три с половиной, что с тобой будешь делать. – Четыре бы взять следовало, да я, дурак, поторопился, – проворчал толстяк. – Так там, в доме-то, шесть с половиною-с, Николай Еремеич, – за шесть с половиной хлеб отдается? – Шесть с половиной, уж сказано. – Ну, так по рукам, Николай Еремеич (купец ударил своими растопыренными пальцами по ладони конторщика). И с богом! (Купец встал.) Так я, батюшка Николай Еремеич, теперь пойду к барыне-с и об себе доложить велю-с, и так уж я и скажу: Николай Еремеич, дескать, за шесть с полтиною-с порешили-с. – Так и скажите, Гаврила Антоныч. – А теперь извольте получить. Купец вручил приказчику небольшую пачку бумаги, поклонился, тряхнул головой, взял свою шляпу двумя пальчиками, передернул плечами, придал своему стану волнообразное движение и вышел, прилично поскрипывая сапожками. Николай Еремеич подошел к стене и, сколько я мог заметить, начал разбирать бумаги, врученные купцом. Из двери высунулась рыжая голова с густыми бакенбардами. – Ну, что? – спросила голова, – всё как следует? – Всё как следует. – Сколько? Толстяк с досадой махнул рукой и указал на мою комнату. – А, хорошо! – возразила голова и скрылась. Толстяк подошел к столу, сел, раскрыл книгу, достал счеты и начал откидывать и прикидывать костяшки, действуя не указательным, но третьим пальцем правой руки: оно приличнее. Вошел дежурный. – Что тебе? – Сидор приехал из Голоплёк. – А! ну, позови его. Постой, постой… Поди сперва посмотри, что тот,

чужой-то барин, спит всё или проснулся. Дежурный осторожно вошел ко мне в комнату. Я положил голову на ягдташ, заменявший мне подушку, и закрыл глаза. – Спит, – прошептал дежурный, вернувшись в контору. Толстяк поворчал сквозь зубы. – Ну, позови Сидора, – промолвил он наконец. Я снова приподнялся. Вошел мужик огромного роста, лет тридцати, здоровый, краснощекий, с русыми волосами и небольшой курчавой бородой. Он помолился на образ, поклонился главному конторщику, взял свою шляпу в обе руки и выпрямился. – Здравствуй, Сидор, – проговорил толстяк, постукивая счетами. – Здравствуйте, Николай Еремеич. – Ну, что, какова дорога? – Хороша, Николай Еремеич. Грязновата маленько. (Мужик говорил нескоро и негромко.) – Жена здорова? – Что ей деется! Мужик вздохнул и ногу выставил. Николай Еремеич заложил перо за ухо и высморкнулся. – Что ж, зачем приехал? – продолжал он спрашивать, укладывая клетчатый платок в карман. – Да слышь, Николай Еремеич, с нас плотников требуют. – Ну, что ж, нет их у вас, что ли? – Как им не быть у нас, Николай Еремеич: дача лесная – известно. Да пора-то рабочая, Николай Еремеич. – Рабочая пора! То-то, вы охотники на чужих работать, а на свою госпожу работать не любите… Всё едино! – Работа-то всё едино, точно, Николай Еремеич… да что… – Ну? – Плата больно… того… – Мало чего нет! Вишь, как вы избаловались. Поди ты! – Да и то сказать, Николай Еремеич, работы-то всего на неделю будет, а продержат месяц. То материалу не хватит, а то и в сад пошлют дорожки чистить. – Мало ли чего нет! Сама барыня приказать изволила, так тут нам с тобой рассуждать нечего. Сидор замолчал и начал переступать с ноги на ногу. Николай Еремеич скрутил голову набок и усердно застучал костяшками. – Наши… мужики… Николай Еремеич… – заговорил, наконец, Сидор, запинаясь на каждом слове, – приказали вашей милости… вот тут… будет… (Он запустил свою ручищу за пазуху армяка и начал вытаскивать оттуда свернутое полотенце с красными разводами.) – Что ты, что ты, дурак, с ума сошел, что ли? – поспешно перебил его толстяк. – Ступай, ступай ко мне в избу, – продолжал он, почти выталкивая изумленного мужика, – там спроси жену… она тебе чаю даст, я сейчас приду, ступай. Да, небось, говорят, ступай. Сидор вышел вон. – Экой… медведь! – пробормотал ему вслед главный конторщик, покачал головой и снова принялся за счеты. Вдруг крики: «Купря! Купря! Купрю не сшибешь!» – раздались на улице и на крыльце, и немного спустя вошел в контору человек низенького роста, чахоточный на вид, с необыкновенно длинным носом, большими неподвижными глазами и весьма горделивой осанкой. Одет он был в старенький,

изорванный сюртук цвета аделаида, или, как у нас говорится, оделлоида, с плисовым воротником и крошечными пуговками. Он нес связку дров за плечами. Около него толпилось человек пять дворовых людей, и все кричали: «Купря! Купрю не сшибешь! В истопники Купрю произвели, в истопники!» Но человек в сюртуке с плисовым воротником не обращал ни малейшего внимания на буйство своих товарищей и нисколько не изменялся в лице. Мерными шагами дошел он до печки, сбросил свою ношу, приподнялся, достал из заднего кармана табакерку, вытаращил глаза и начал забивать себе в нос тертый донник, смешанный с золой. При входе шумливой ватаги толстяк нахмурил было брови и поднялся с места; но, увидав в чем дело, улыбнулся и только велел не кричать: в соседней, дескать, комнате охотник спит. – Какой охотник? – спросили человека два в один голос. – Помещик. – А! – Пускай шумят, – заговорил, растопыря руки, человек с плисовым воротником, – мне что за дело! Лишь бы меня не трогали. В истопники меня произвели… – В истопники! в истопники! – радостно подхватила толпа. – Барыня приказала, – продолжал он, пожав плечами, – а вы погодите… вас еще в свинопасы произведут. А что я портной, и хороший портной, у первых мастеров в Москве обучался и на енаралов шил… этого у меня никто не отнимет. А вы чего храбритесь?.. чего? Из господской власти вышли, что ли? Вы дармоеды, тунеядцы, больше ничего. Меня отпусти на волю – я с голоду не умру, я не пропаду; дай мне пашпорт – я оброк хороший взнесу и господ удоблетворю. А вы что? Пропадете, пропадете, словно мухи, вот и всё! – Вот и соврал, – перебил его парень, рябой и белобрысый, с красным галстухом и разорванными локтями, – ты и по пашпорту ходил, да от тебя копейки оброку господа не видали, и себе гроша не заработал: насилу ноги домой приволок, да с тех пор всё в одном кафтанишке живешь. – А что будешь делать, Константин Наркизыч! – возразил Куприян, – влюбился человек – и пропал, и погиб человек. Ты сперва с мое поживи, Константин Наркизыч, а тогда уже и осуждай меня. – И в кого нашел влюбиться! в урода сущего! – Нет, этого ты не говори, Константин Наркизыч. – Да кого ты уверяешь? Ведь я ее видел; в прошлом году, в Москве, своими глазами видел. – В прошлом году она действительно попортилась маленько, – заметил Куприян. – Нет, господа, что, – заговорил презрительным и небрежным голосом человек высокого роста, худощавый, с лицом, усеянным прыщами, завитый и намасленный, должно быть, камердинер, – вот пускай нам Куприян Афанасьич свою песенку споет. Ну-тка, начните, Куприян Афанасьич! – Да, да! – подхватили другие. – Ай да Александра! подкузьмила Купрю, неча сказать… Пой, Купря!..

Молодца, Александра! (Дворовые люди часто, для большей нежности, говоря о мужчине, употребляют женские окончания.) Пой! – Здесь не место петь, – с твердостию возразил Куприян, – здесь господская контора. – Да тебе-то что за дело? Чай, в конторщики сам метишь! – с грубым смехом отвечал Константин. – Должно быть! – Всё в господской власти состоит, – заметил бедняк. – Вишь, вишь, куда метит, вишь, каков? у! у! а! И все расхохотались, иные запрыгали. Громче всех заливался один мальчишка лет пятнадцати, вероятно, сын аристократа между дворней: он носил жилет с бронзовыми пуговицами, галстух лилового цвета и брюшко уже успел отрастить. – А послушай-ка, признайся, Купря, – самодовольно заговорил Николай Еремеич, видимо распотешенный и разнеженный, – ведь плохо в истопниках-то? Пустое, чай, дело вовсе? – Да что, Николай Еремеич, – заговорил Куприян, – вот вы теперь главным у нас конторщиком, точно; спору в том, точно, нету; а ведь и вы под опалой находились и в мужицкой избе тоже пожили. – Ты смотри у меня, однако, не забывайся, – с запальчивостью перебил его толстяк, – с тобой, дураком, шутят; тебе бы, дураку, чувствовать следовало и благодарить, что с тобой, дураком, занимаются. – К слову пришлось, Николай Еремеич, извините… То-то же к слову. Дверь растворилась, и вбежал казачок. – Николай Еремеич, барыня вас к себе требует. – Кто у барыни? – спросил он казачка. – Аксинья Никитишна и купец из Венёва. – Сею минутою явлюся. А вы, братцы, – продолжал он убедительным голосом, – ступайте-ка лучше отсюда вон с новопожалованным истопником-то: неравно немец забежит, как раз нажалуется. Толстяк поправил у себя на голове волосы, кашлянул в руку, почти совершенно закрытую рукавом сюртука, застегнулся и отправился к барыне, широко расставляя на ходу ноги. Погодя немного и вся ватага поплелась за ним вместе с Купрей. Остался один мой старый знакомый, дежурный. Он принялся было чинить перья, да сидя и заснул. Несколько мух тотчас воспользовались счастливым случаем и облепили ему рот. Комар сел ему на лоб, правильно расставил свои ножки и медленно погрузил в его мягкое тело всё свое жало. Прежняя рыжая голова с бакенбардами снова показалась из-за двери, поглядела, поглядела и вошла в контору вместе с своим довольно некрасивым туловищем. – Федюшка! а Федюшка! вечно спишь! – проговорила голова. Дежурный открыл глаза и встал со стула. – Николай Еремеич к барыне пошел? – К барыне пошел, Василий Николаич. «А! а! – подумал я, – вот он – главный кассир». Главный кассир начал ходить по комнате. Впрочем, он более крался, чем ходил, и таки вообще смахивал на кошку. На плечах его болтался старый черный фрак,

с очень узкими фалдами; одну руку он держал на груди, а другой беспрестанно брался за свой высокий и тесный галстух из конского волоса и с напряжением вертел головой. Сапоги носил он козловые, без скрыпу, и выступал очень мягко. – Сегодня Ягушкин помещик вас спрашивал, – прибавил дежурный. – Гм, спрашивал? Что ж он такое говорил? – Говорил, что, дескать, к Тютюреву вечером заедет и вас будет ждать. Нужно, дескать, мне с Васильем Николаичем об одном деле переговорить, а о каком деле – не сказывал: уж Василий Николаич, говорит, знает. – Гм! – возразил главный кассир и подошел к окну. – Что, Николай Еремеев в конторе? – раздался в сенях громкий голос, и человек высокого роста, видимо рассерженный, с лицом неправильным, но выразительным и смелым, довольно опрятно одетый, шагнул через порог. – Нет его здесь? – спросил он, быстро глянув кругом. – Николай Еремеич у барыни, – отвечал кассир. – Что вам надобно, скажите мне, Павел Андреич: вы мне можете сказать. Вы чего хотите? – Чего я хочу? Вы хотите знать, чего я хочу? (Кассир болезненно кивнул головой.) Проучить я его хочу, брюхача негодного, наушника подлого… Я ему дам наушничать! Павел бросился на стул. – Что вы, что вы, Павел Андреич? Успокойтесь… Как вам не стыдно? Вы не забудьте, про кого вы говорите, Павел Андреич! – залепетал кассир. – Про кого? А мне что за дело, что его в главные конторщики пожаловали! Вот, нечего сказать, нашли кого пожаловать! Вот уж точно, можно сказать, пустили козла в огород! – Полноте, полноте, Павел Андреич, полноте! Бросьте это… что за пустяки такие? – Ну, Лиса Патрикевна, пошла хвостом вилять! Я его дождусь, – с сердцем проговорил Павел и ударил рукой по столу. – А, да вот он и жалует, – прибавил он, взглянув в окошко, – легок на помине. Милости просим! (Он встал.) – Николай Еремеев вошел в контору. Лицо его сияло удовольствием, но при виде Павла он несколько смутился. – Здравствуйте, Николай Еремеич, – значительно проговорил Павел, медленно подвигаясь к нему навстречу, – здравствуйте. Главный конторщик не отвечал ничего. В дверях показалось лицо купца. – Что ж вы мне не изволите отвечать? – продолжал Павел. – Впрочем, нет… нет, – прибавил он, – этак не дело; криком: да бранью ничего не возьмешь. Нет, вы мне лучше добром скажите. Николай Еремеич, за что вы меня преследуете? за что вы меня погубить хотите? Ну, говорите же, говорите. – Здесь не место с вами объясняться, – не без волнения возразил главный конторщик, – да и не время. Только я, признаюсь, одному удивляюсь: с чего вы взяли, что я вас погубить желаю или преследую? Да и как, наконец, могу я вас преследовать? Вы не у меня в конторе состоите. – Еще бы, –

отвечал Павел, – этого бы только недоставало. Но зачем же вы притворяетесь, Николай Еремеич?.. Ведь вы меня понимаете. – Нет, не понимаю. – Нет, понимаете. – Нет, ей-богу, не понимаю. – Еще божитесь! Да уж коли на то пошло, скажите: ну, не боитесь вы бога! Ну, за что вы бедной девке жить не даете? Что вам надобно от нее? – Вы о ком говорите, Павел Андреич? – с притворным изумлением спросил толстяк. – Эка! не знает небось? Я об Татьяне говорю. Побойтесь бога, – за что мстите? Стыдитесь: вы человек женатый, дети у вас с меня уже ростом, а я не что другое… я жениться хочу: я по чести поступаю. – Чем же я тут виноват, Павел Андреич? Барыня вам жениться не позволяет: ее господская воля! Я-то тут что? – Вы что? А вы с этой старой ведьмой, с ключницей, не стакнулись небось? Небось не наушничаете, а? Скажите, не взводите на беззащитную девку всякую небылицу? Небось не по вашей милости ее из прачек в судомойки произвели! И бьют-то ее и в затрапезе держат не по вашей милости?.. Стыдитесь, стыдитесь, старый вы человек! Ведь вас паралич того и гляди разобьет… Богу отвечать придется. – Ругайтесь, Павел Андреич, ругайтесь… Долго ли вам придется ругаться-то! Павел вспыхнул. – Что? грозить мне вздумал? – с сердцем заговорил он. – Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, брат, не на того наткнулся! Чего мне бояться?.. Я везде себе хлеб сыщу. Вот ты – другое дело! Тебе только здесь и жить, да наушничать, да воровать… – Ведь вот как зазнался, – перебил его конторщик, который тоже начинал терять терпение, – фершел, просто фершел, лекаришка пустой; а послушай-ка его, – фу ты, какая важная особа! – Да, фершел, а без этого фершела ваша милость теперь бы на кладбище гнила… И дернула же меня нелегкая его вылечить, – прибавил он сквозь зубы. – Ты меня вылечил?.. Нет, ты меня отравить хотел; ты меня сабуром опоил, – подхватил конторщик. – Что ж, коли на тебя, кроме сабура, ничего действовать не могло? – Сабур врачебный управой запрещен, – продолжал Николай, – я еще на тебя пожалуюсь. Ты уморить меня хотел – вот что! Да господь не попустил. – Полно вам, полно, господа… – начал было кассир. – Отстань! – крикнул конторщик. – Он меня отравить хотел! Понимаешь ты эфто? – Очень нужно мне… Слушай, Николай Еремеев, – заговорил Павел с отчаянием, – в последний раз тебя прошу… вынудил ты меня – невтерпеж мне становится. Оставь нас в покое, понимаешь? А то, ей-богу, несдобровать кому-нибудь из нас, я тебе говорю. Толстяк расходился. – Я тебя не боюсь, – закричал он, – слышишь ли ты, молокосос! Я и с отцом твоим справился, я и ему рога сломил, – тебе пример, смотри! – Не напоминай мне про отца, Николай Еремеев, не напоминай! – Вона! ты что мне за уставщик? –

Говорят тебе, не напоминай! – А тебе говорят, не забывайся… Как ты там барыне, по-твоему, ни нужен, а коли из нас двух ей придется выбирать, – не удержишься ты, голубчик! Бунтовать никому не позволяется, смотри! (Павел дрожал от бешенства.) А девке Татьяне поделом… Погоди, не то ей еще будет! Павел кинулся вперед с поднятыми руками, и конторщик тяжко покатился на пол. – В кандалы его, в кандалы, – застонал Николай Еремеев… Конца этой сцены я не берусь описывать; я и так боюсь, не оскорбил ли я чувства читателя. В тот же день я вернулся домой. Неделю спустя я узнал, что госпожа Лоснякова оставила и Павла и Николая у себя в услужении, а девку Татьяну сослала: видно, не понадобилась.